

# ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

Часть 15. СТИХИ.

## ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО

Составитель МУЧНИК ЭТЯ БОРИСОВНА



Евгений Александрович Евтушенко (Гангнус) — русский советский поэт. Известен также как прозаик, режиссёр, сценарист, публицист и актёр. Евгений родился 18 июля 1932 г. в семье геолога и поэта-любителя Александра Рудольфовича Гангнуса (по происхождению — прибалтийского немца). В 1944 году, по возвращении из эвакуации со станции Зима в Москву, мать поэта, поменяла фамилию сына на свою девичью. При оформлении документов для смены фамилии была сознательно допущена ошибка в дате рождения: записали 1933 г., чтобы не получать пропуска, который положено было иметь в 12 лет. Начал печататься в 1949. С 1952[8] по 1957 г. учился в Литературном институте им. М. Горького. Исключён за «дисциплинарные взыскания», а также — за поддержку романа Дудинцева «Не хлебом единым». В 1952 году выходит первая книга стихов. В 1952 году стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В последующие годы печатает несколько сборников, которые приобретают большую популярность. Произведения его отличает широкая гамма настроений и жанровое разнообразие. Поэту не чужда тонкая и интимная лирика: стихотворение «Бывало спит у ног собака» (1955). В поэме «Северная Надбавка» (1977) слагает настоящую оду пиву. Поэт затрагивает самые разные, в том числе откровенно политические, темы. Несколько поэм и стихотворений посвящено тематике: «Под кожей Статуи Свободы», «Коррида», «Итальянский цикл», «Голубь в Сантьяго», «Мама и нейтронная бомба». Известность получили сценические выступления Евтушенко: 1986 по 1991 год был секретарём правления Союза писателей СССР. С декабря 1991 года — секретарь правления Содружества писательских союзов. С 1989 года — сопредседатель писательской ассоциации «Апрель». С 1988 года — член общества «Мемориал». 14 мая 1989 года был избран народным депутатом СССР города Харькова и был им до конца существования СССР. В 1991 году, заключив контракт с американским университетом, ехал с семьёй преподавать в США, где и проживает в настоящее время. В 2007 году в спорткомплексе «Олимпийский» состоялась премьера рок-оперы «Идут белые снега», созданной на стихи Евгения Евтушенко композитором Глебом Маем. Евтушенко известен также как режиссёр, актёр, драматург, сценарист. Известны его фотовыставка «Невидимые нити».

\* \* \*

*К. Шульженко*

А снег повалится, повалится...  
и я прочту в его канве,  
что моя молодость повадится  
опять заглядывать ко мне.

И поведет куда-то за руку,  
на чьи-то тени и шаги,  
и вовлечет в старинный заговор  
огней, деревьев и пурги.

И мне покажется, покажется  
по Сретенкам и Моховым,  
что молод не был я пока еще,  
а только буду молодым.

И ночь завертится, завертится  
и, как в воронку, втянет в грех,  
и моя молодость завесится  
со мною снегом ото всех.

Но, сразу ставшая накрашенной  
при беспристрастном свете дня,  
цыганкой, мною наигравшейся,  
оставит молодость меня.

Начну я жизнь переиначивать,  
свою наивность застыжу  
и сам себя, как пса бродячего,  
на цепь угрюмо посажу.

Но снег повалится, повалится,  
закружит все веретеном,  
и моя молодость появится  
опять цыганкой под окном.

А снег повалится, повалится,  
и цепи я перегрызу,  
и жизнь, как снежный ком, покатится  
к сапожкам чьим-то там, внизу.

1966

## БАБИЙ ЯР

Над Бабьим Яром памятников нет.  
Крутой обрыв, как грубое надгробье.  
Мне страшно.

Мне сегодня столько лет,  
как самому еврейскому народу.

Мне кажется сейчас -  
я иудей.

Вот я бреду по древнему Египту.  
А вот я, на кресте распятый, гибну,  
и до сих пор на мне - следы гвоздей.  
Мне кажется, что Дрейфус -  
это я.

Мещанство -  
мой доносчик и судья.

Я за решеткой.  
Я попал в кольцо.

Затравленный,  
оплеванный,  
оболганный.

И дамочки с брюссельскими оборками,  
визжа, зонтами тычут мне в лицо.

Мне кажется -  
я мальчик в Белостоке.

Кровь льется, растекаясь по полам.  
Бесчинствуют вожди трактирной стойки  
и пахнут водкой с луком пополам.

Я, сапогом отброшенный, бессилён.

Напрасно я погромщиков молю.

Под гогот:

"Бей жидов, спасай Россию!"-  
насилует лабазник мать мою.

О, русский мой народ! -

Я знаю -

ты

По сущности интернационален.  
Но часто те, чьи руки нечисты,  
твоим чистейшим именем бряцали.

Я знаю доброту твоей земли.

Как подло,

что, и жилочкой не дрогнув,  
антисемиты пышно нарекли  
себя "Союзом русского народа"!

Мне кажется -  
я - это Анна Франк,  
прозрачная,  
как веточка в апреле.  
И я люблю.  
И мне не надо фраз.  
Мне надо,  
чтоб друг в друга мы смотрели.  
Как мало можно видеть,  
обонять!  
Нельзя нам листьев  
и нельзя нам неба.  
Но можно очень много -  
это нежно  
друг друга в темной комнате обнять.  
Сюда идут?  
Не бойся — это гулы  
самой весны -  
она сюда идет.  
Иди ко мне.  
Дай мне скорее губы.  
Ломают дверь?  
Нет - это ледоход...  
Над Бабьим Яром шелест диких трав.  
Деревья смотрят грозно,  
по-судейски.  
Все молча здесь кричит,  
и, шапку сняв,  
я чувствую,  
как медленно седею.  
И сам я,  
как сплошной беззвучный крик,  
над тысячами тысяч погребенных.  
Я -  
каждый здесь расстрелянный старик.  
Я -  
каждый здесь расстрелянный ребенок.  
Ничто во мне  
про это не забудет!  
"Интернационал"  
пусть прогремит,  
когда навеки похоронен будет  
последний на земле антисемит.  
Еврейской крови нет в крови моей.  
Но ненавистен злобой заскорузлой

я всем антисемитам,  
        как еврей,  
и потому -  
        я настоящий русский!  
1961

## **БАЛЛАДА О ШЕФЕ ЖАНДАРМОВ...**

Я представляю страх и обалденье,  
когда попало в Третье отделение  
«На смерть Поэта»<sup>1</sup> ...  
        Представляю я,  
как начали все эти гады бегать,  
на вицмундиры осыпая перхоть,  
в носы табак спасительный суя.  
И шеф жандармов — главный идеолог,  
ругая подчиненных идиотов,  
надел очки... Дойдя до строк: «Но есть,  
есть божий суд, наперсники разврата...» —  
он, вздрогнув, огляделся воровато  
и побоялся еще раз прочесть.

Уже давно докладец был состряпан,  
и на Кавказ М. Лермонтов запрятан,  
но Бенкендорф с тех пор утратил сон.  
Во время всей бодяги царедворской —  
приемов, заседаний, церемоний:  
«Есть божий суд...» — в смятенье слышал он.

«Есть божий суд...» — метель ревела в окна.  
«Есть божий суд...» — весной стонала Волга  
в раздольях исстрадавшихся степных.  
«Есть божий суд...» — кандальники бренчали.  
«Есть божий суд...» — безмолвствуя, кричали  
глаза скидавших шапки крепостных.

И шеф, трясась от страха водянисто,  
украдкой превратился в атеиста.  
Шеф посещал молебны, как всегда,  
с приятцей размышляя в кабинете,  
что все же бога нет на этом свете,  
а значит, нет и божьего суда.

Но вечно

надо всеми подлецами —  
жандармами, придворными льстецами,—  
как будто их грядущая судьба,  
звучит с неумолимостью набата:  
«Есть божий суд, наперсники разврата...  
Есть божий суд... Есть грозный судия...»

И если даже нет на свете бога,  
не потирайте руки слишком бодро:  
вас вицмундиры ваши не спасут,—  
придет за все когда-нибудь расплата.  
Есть божий суд, наперсники разврата,  
и суд поэта — это божий суд!

## **БЕЛЫЕ НОЧИ В АРХАНГЕЛЬСКЕ**

Белые ночи — сплошное «быть может»...  
Светится что-то и странно тревожит —  
может быть, солнце, а может, луна.  
Может быть, с грустью, а может, с весельем,  
может, Архангельском, может, Марселем  
бродят новехонькие штурмана.

С ними в обнику официантки,  
а под бровями, как лодки-ледянки,  
ходят, покачиваясь, глаза.  
Разве подскажут шалонника гулы,  
надо ли им отстранять свои губы?  
Может быть, надо, а может, нельзя.

Чайки над мачтами с криками вьются —  
может быть, плачут, а может, смеются.  
И у причала, прощаясь, моряк  
женщину в губы целует протяжно:  
«Как твое имя?» — «Это не важно...»  
Может, и так, а быть может, не так.

Вот он восходит по трапу на шхуну:  
«Я привезу тебе нерпичью шкуру!»  
Ну, а забыл, что не знает — куда.  
Женщина молча стоять остается.  
Кто его знает - быть может, вернется,  
может быть, нет, ну а может быть, да.

Чудится мне у причала невольно:  
чайки — не чайки, волны — не волны,  
он и она — не он и она:  
все это — белых ночей переливы,  
все это — только наплывы, наплывы,  
может, бессоницы, может быть, сна.

Шхуна гудит напряженно, прощально.  
Он уже больше не смотрит печально.  
Вот он, отдельный, далекий, плывет,  
смачно спуская соленые шутки  
в может быть море, на может быть шхуне,  
может быть, тот, а быть может, не тот.

И безымянно стоит у причала —  
может, конец, а быть может, начало —  
женщина в легоньком сером пальто,  
медленно тая комочком тумана,—  
может быть, Вера, а может, Тамара,  
может быть, Зоя, а может, никто...  
1964

## **БЛАГОДАРНОСТЬ**

*М.В.*

Она сказала: «Он уже уснул!»,—  
задернув полог над кроватью сына,  
и верхний свет неловко погасила,  
и, съезжившись, халат упал на стул.

Мы с ней не говорили про любовь,  
Она шептала что-то, чуть картавя,  
звук «р», как виноградину, катая  
за белою оградю зубов.

«А знаешь: я ведь плюнула давно  
на жизнь свою... И вдруг так огорошить!  
Мужчина в юбке. Ломовая лошадь.  
И вдруг — я снова женщина... Смешно?»

Быть благодарным — это мой был долг.  
Ища защиту в беззащитном теле,

зарылся я, зафлаженный, как волк,  
в доверчивый сугроб ее постели.

Но, как волчонок загнанный, одна,  
она в слезах мне щеки обшептала.  
и то, что благодарна мне она,  
меня стыдом студеным обжигало.

Мне б окружить ее блокадой рифм,  
теряться, то бледнея, то краснея,  
но женщина! меня! благодарит!  
за то, что я! мужчина! нежен с нею!

Как получиться в мире так могло?  
Забыв про смысл ее первопричинный,  
мы женщину сместили. Мы ее  
унизили до равенства с женщиной.

Какой занятный общества этап,  
коварно подготовленный веками:  
мужчины стали чем-то вроде баб,  
а женщины — почти что мужиками.

О, господи, как сгиб ее плеча  
мне вмялся в пальцы голодно и голо  
и как глаза неведомого пола  
преображались в женские, крича!

Потом их сумрак полузаволок.  
Они мерцали тихими свечами...  
Как мало надо женщине — мой Бог!—  
чтобы ее за женщину считали.  
1968

\* \* \*

Благословенна русская земля,  
открытая для доброго зерна!  
Благословенны руки ее пахарей,  
замасленною вытертые паклей!  
Благословенно утро человека  
у Кустаная  
или Челекена,  
который вышел рано на заре

и поразился  
вспаханной земле,  
за эту ночь  
его руками поднятой,  
но лишь сейчас  
во всем величье понятой!  
Пахал он ночью.  
Были звезды сонны.  
О лемех слепо торкались ручьи,  
и трактор шел,  
и попадали совы,  
серебряными делаясь,  
в лучи.  
Но, землю сталью синею ворочая  
в степи незаренной и немой,  
хотел он землю увидеть воочию,  
но увидеть без солнца он не мог.  
И вот,  
лучами пахоту опробовал,  
перевалив за горизонт с трудом,  
восходит солнце,  
грузное,  
огромное,  
и за бугром поигрывает гром.  
Вот поднимается оно,  
вот поднимается,  
и с тем, как поднимается оно,  
так понимается,  
так сладко принимается  
все то, что им сейчас озарено!  
Степь отливает чернотой бархатной,  
счастливая отныне и навек,  
и пар идет,  
и пьяно пахнет пахотой,  
и что-то шепчет пашне человек...  
1957

\* \* \*

Бывало, спит у ног собака,  
костер занявшийся гудит,  
и женщина из полумрака  
глазами зыбкими глядит.

Потом под пихтою приляжет  
на куртку рыжую мою  
и мне,  
    задумчивая,  
        скажет:  
"А ну-ка, спой!.." -  
    и я пою.

Лежит, отдаваяся песням,  
и подпевает про себя,  
рукой с латышским светлым перстнем  
цветок алтайский теребя.

Мы были рядом в том походе.  
Все говорили, что она  
и рассудительная вроде,  
а вот в мальчишку влюблена.

От шуток едких и топорных  
я замыкался и молчал,  
когда лысеющий топограф  
меня лениво поучал:

"Таких встречаешь, брат, не часто.  
В тайге все проще, чем в Москве.  
Да ты не думай, что начальство!  
Такая ж баба, как и все..."

А я был тихий и серьезный  
и в ночи длинные свои  
мечтал о пламенной и грозной,  
о замечательной любви.

Но как-то вынес одеяло  
и лег в саду,  
    а у плетня  
она с подругою стояла  
и говорила про меня.

К плетню растерянно приникший,  
я услышал в тени ветвей,  
что с нецелованным парнишкой  
занятно баловаться ей...

Побрел я берегом туманным,

побрел один в ночную тьму,  
и все казалось мне обманным,  
и я не верил ничему.

Ни песням девичьим в долине,  
ни воркованию ручья...  
Я лег ничком в густой полыни,  
и горько-горько плакал я.

Но как мое,  
    мое владенье,  
в текучих отблесках огня  
всходило смутное виденье  
и наплывало на меня.

Я видел -  
    спит у ног собака,  
костер занявшийся гудит,  
и женщина  
    из полумрака  
глазами зыбкими глядит.  
1955

\* \* \*

*Д. Г.*

Был я столько раз так больно ранен,  
добираясь до дому ползком,  
но не только злобой протаранен —  
можно ранить даже лепестком.

Ранил я и сам — совсем невольно  
нежностью небрежной на ходу,  
а кому-то после было больно,  
словно босиком ходить по льду.

Почему иду я по руинам  
самых моих близких, дорогих,  
я, так больно и легко ранимый  
и так просто ранящий других?  
1973

\* \* \*

В вагоне шаркают и шамкают  
и просят шумно к шалашу.  
Слегка пошатывает шахматы,  
а я тихонечко пишу.

Я вспоминаю вечерение  
еще сегодняшнего дня,  
и медленное воцарение  
дыханья около меня.

Пришла ко мне ты не от радости —  
ее почти не помнишь ты,  
а от какой-то общей равности,  
от страшной общей немоты.

Пришла разумно и отчаянно.  
Ты, непосильно весела,  
за дверью прошлое оставила  
и снова в прошлое вошла.

И, улыбаясь как-то сломанно  
и плача где-то в глубине,  
маслины косточку соленую  
губами протянула мне.

И, устремляясь все ненадошной  
к несуществующему дну,  
как дети, мы из двух нерадостей  
хотели радость, хоть одну.

Но вот с тетрабочкой зеленою  
на верхней полке я лежу.  
Маслины косточку соленую  
я за щекой еще держу.

Я уезжаю от бездонности,  
как будто есть чему-то дно.  
Я уезжаю от бездомности,  
хотя мне это суждено.

А ты в другом каком-то поезде  
в другие движешься края.  
Прости меня, такая поздняя,

за то, что тоже поздний я.

Еще мои воспринимания  
меня, как струи, обдают.  
Еще во мне воспоминания,  
как в церкви девочки, поют.

Но помню я картину вещую,  
предсланную всем векам.  
Над всей вселенною, над вечностью  
там руки тянутся к рукам.

Художник муку эту чувствовал.  
Насколько мог, он сблизил их.  
Но все зазор какой-то чутошный  
меж пальцев — женских и мужских.

И в нас все это повторяется,  
как с кем-то много лет назад.  
Друг к другу руки простираются,  
и пальцев кончики кричат.

И, вытянутые над бездною,  
где та же, та же немота,  
не смогут руки наши бедные  
соединиться никогда.

1960

## **В МАГАЗИНЕ**

Кто в платке, а кто в платочке,  
как на подвиг, как на труд,  
в магазин поодиночке  
молча женщины идут.

О бидонов их бряцанье,  
звон бутылок и кастрюль!  
Пахнет луком, огурцами,  
пахнет соусом «Кабуль».

Зябну, долго в кассу стоя,  
но куда движусь к ней,  
от дыханья женщин стольких  
в магазине все теплей.

Они тихо поджидают —  
боги добрые семьи,  
и в руках они сжимают  
деньги трудные свои.

Это женщины России.  
Это наша честь и суд.  
И бетон они месили,  
и пахали, и косили...  
Все они переносили,  
все они перенесут.

Все на свете им посильно, —  
столько силы им дано.  
Их обсчитывать постыдно.  
Их обвешивать грешно.

И, в карман пельмени сунув,  
я смотрю, смущен и тих,  
на усталые от сумок  
руки праведные их.  
1956

## **В ЦЕРКВИ КОШУЭТЫ**

Не уместаясь в жестких догмах,  
передо мной вознесена  
в неблагонаправных, неудобных,  
святых и ангелах стена.  
Но понимаю,  
        пряча робость,  
я,  
    неразбуженный дикарь,  
не часть огромной церкви — роспись,  
а церковь — росписи деталь.  
Рука Ладо Гудиашвили  
изобразила на стене  
людей, которые грешили,  
а не витали в вышине.  
Он не хулител, не насмешник,  
Он сам такой же теркой терт.  
Он то ли бог,  
        и то ли грешник,  
и то ли ангел,

то ли черт!  
И мы,  
художники,  
поэты,  
творцы подспудных перемен,  
как эту церковь Кошуэты,  
размалевали столько стен!  
Мы, лицедеи-богомазы,  
дурили головы господ.  
Мы ухитрялись брать заказы,  
а делать все наоборот.  
И как собой ни рисковали,  
как ни страдали от врагов,  
богов людьми мы рисовали  
И в людях  
видели  
богов!

1958

#### **Примечания:**

Роспись церкви Кошуэты начата была Ладом Гудиашвили по заказу духовенства; осталась незаконченной из-за протеста заказчиков, возмущенных его манерой изображения святых. *Примеч. автора.*

#### **ВАГОН**

Стоял вагон, выдавший виды,  
где шлаком выложен откос.  
До буферов травой обвитый,  
он до колена в насыпь врос.  
Он домом стал. В нем люди жили.  
Он долго был для них чужим.  
Потом привыкли. Печь сложили,  
чтоб в нем теплее было им.  
Потом - обойные разводы.  
Потом - герани на окне.  
Потом расставили комоды.  
Потом прикрепили к стене  
открытки с видами прибоев.  
Хотели сделать все, чтоб он  
в геранях их и в их обоях  
не вспоминал, что он - вагон.  
Но память к нам неумолима,  
и он не мог заснуть, когда  
в огнях, свистках и клочьях дыма

летели

мимо

поезда.

Дыханье их его касалось.

Совсем был рядом их маршрут.

Они гудели, и казалось -

они с собой его берут.

Но сколько он не тратил силы -

колес не мог поднять своих.

Его земля за них схватила,

и лебеда вцепилась в них.

А были дни, когда сквозь чащи,

сквозь ветер, песни и огни

и он летел навстречу счастью,

шатая голосом плетни.

Теперь не ринуться куда-то.

Теперь он с места не сойдет.

И неподвижность - как расплата

за молодой его полет.

1952

## **ВАЛЬС НА ПАЛУБЕ**

Спят на борту грузовики,

спят

краны.

На палубе танцуют вальс

бахилы,

кеды.

Все на Камчатку едут здесь —

в край

крайний.

Никто не спросит: «Вы куда?» —

лишь:

«Кем вы?»

Вот пожилой мерзлотовед.

Вот

парни —

торговый флот — танцуют лихо:

есть

опыт!

На их рубашках Сингапур,

пляж,

пальмы,

а въелись в кожу рук металл,

соль,  
    копоть.  
От музыки и от воды  
плеск,  
    звоны.  
Танцуют музыка и ночь  
друг  
    с другом.  
И тихо кружится корабль,  
мы,  
    звезды,  
и кружится весь океан  
круг  
    за кругом.  
Туманен вальс, туманна ночь,  
путь  
    дымчат.  
С зубным врачом танцует  
кок  
    Вася.  
И Надя с Мартой из буфета  
чуть  
    дышат —  
и очень хочется, как всем,  
им  
    вальса.  
Я тоже, тоже человек,  
и мне  
    надо,  
что надо всем. Быть одному  
мне  
    мало.  
Но не сердитесь на меня  
вы,  
    Надя,  
и не сердитесь на меня  
вы,  
    Марта.  
Да, я стою, но я танцую!  
Я  
    в роли  
довольно странной, правда, я  
в ней  
    часто.  
И на плече моем руки

нет  
вроде,  
и на плече моем рука  
есть  
чья-то.  
Ты далеко, но разве это  
так  
важно?  
Девчата смотрят — улыбнусь  
им  
бегло.  
Стою — и все-таки иду  
под плеск  
вальса.  
С тобой иду! И каждый вальс  
твой,  
Белла!  
С тобой я мало танцевал,  
и лишь  
выпив,  
и получалось-то у нас —  
так  
слабо.  
Но лишь тебя на этот вальс  
я  
выбрал.  
Как горько танцевать с тобой!  
Как  
сладко!  
Курилы за бортом плывут,..  
В их складках  
снег  
вечный.  
А там, в Москве,— зеленый парк,  
пруд,  
лодка.  
С тобой катается мой друг,  
друг  
верный.  
Он грустно и красиво врет,  
врет  
ловко.  
Он заикается умело.  
Он  
молит.

Он так богато врет тебе  
и так  
    бедно!  
И ты не знаешь, что вдали,  
там,  
    в море,  
с тобой танцую я сейчас  
вальс,  
    Белла.  
1957

## **ВОЛГА**

Мы русские. Мы дети Волги.  
Для нас значения полны  
ее медлительные волны,  
тяжелые, как валуны.

Любовь России к ней нетленна.  
К ней тянутся душою всей  
Кубань и Днепр, Нева и Лена,  
и Ангара, и Енисей.

Люблю ее всю в пятнах света,  
всю в окаймленьи ивняка...  
Но Волга Для России — это  
гораздо больше, чем река.

А что она — рассказ не краток.  
Как бы связуя времена,  
она — и Разин, и Некрасов<sup>1</sup>,  
и Ленин — это все она.

Я верен Волге и России —  
надежде страждущей земли.  
Меня в большой семье растили,  
меня кормили, как могли.

В час невеселый и веселый  
пусть так живу я и пою,  
как будто на горе высокой  
я перед Волгою стою.

Я буду драться, ошибаться,

не зная жалкого стыда.  
Я буду больно ушибаться,  
но не расплачусь никогда.

И жить мне молодо и звонко,  
и вечно мне шуметь и цвести,  
покуда есть на свете Волга,  
покуда ты, Россия, есть.  
1958

\* \* \*

Всегда найдется женская рука,  
чтобы она, прохладна и легка,  
жалая и немножечко любя,  
как брата, успокоила тебя.

Всегда найдется женское плечо,  
чтобы в него дышал ты горячо,  
припав к нему беспутной головой,  
ему доверив сон мятежный свой.

Всегда найдутся женские глаза,  
чтобы они, всю боль твою глуша,  
а если и не всю, то часть ее,  
увидели страдание твое.

Но есть такая женская рука,  
которая особенно сладка,  
когда она измученного лба  
касается, как вечность и судьба.

Но есть такое женское плечо,  
которое неведомо за что  
не на ночь, а навек тебе дано,  
и это понял ты давным-давно.

Но есть такие женские глаза,  
которые глядят всегда грустя,  
и это до последних твоих дней  
глаза любви и совести твоей.

А ты живешь себе же вопреки,  
и мало тебе только той руки,

того плеча и тех печальных глаз...  
Ты предавал их в жизни столько раз!

И вот оно - возмездье - настает.  
"Предатель!"- дождь тебя наотмашь бьет.  
"Предатель!"- ветки хлещут по лицу.  
"Предатель!"- эхо слышится в лесу.

Ты мечешься, ты мучишься, грустишь.  
Ты сам себе все это не простишь.  
И только та прозрачная рука  
простит, хотя обида и тяжка,

и только то усталое плечо  
простит сейчас, да и простит еще,  
и только те печальные глаза  
простят все то, чего прощать нельзя...  
1961

## ГЛУБИНА

*В. Соколову*

Будил захвоенные дали  
рев парохода поутру,  
а мы на палубе стояли  
и наблюдали Ангару.  
Она летела озаренно,  
и дно просвечивало в ней  
сквозь толщу волн светло-зеленых  
цветными пятнами камней.  
Порою, если верить глазу,  
могло казаться на пути,  
что дна легко коснешься сразу,  
лишь в воду руку опусти.  
Пусть было здесь немало метров,  
но так вода была ясна,  
что оставалась неприметной  
ее большая глубина.  
Я знаю: есть порой опасность  
в незамутненности волны,  
ведь ручейков журчащих ясность  
отнюдь не признак глубины.  
Но и другое мне знакомо,

и я не ставлю ни во грош  
бессмысленно глубокий омут,  
где ни черта не разберешь.  
И я хотел бы стать волною  
реки, зарей пробитой вкось,  
с неизмеримой глубиною  
и каждым  
    камешком  
        насквозь!

1952

## ГРАЖДАНЕ, ПОСЛУШАЙТЕ МЕНЯ...

*Д. Апдайку*

Я на пароходе "Фридрих Энгельс",  
ну а в голове - такая ересь,  
мыслей безбилетных толкотня.  
Не пойму я - слышится мне, что ли,  
полное смятения и боли:  
"Граждане, послушайте меня..."

Палуба сгибается и стонет,  
под гармошку палуба чарльстонит,  
а на баке, тоненько моля,  
пробует пробиться одичало  
песенки свербящее начало:  
"Граждане, послушайте меня..."

Там сидит солдат на бочкотаре.  
Наклонился чубом он к гитаре,  
пальцами растерянно мудря.  
Он гитару и себя изводит,  
а из губ мучительно исходит:  
"Граждане, послушайте меня..."

Граждане не хотят его слушать.  
Гражданам бы выпить и откусать  
и сплясать, а прочее - мура!  
Впрочем, нет,- еще поспать им важно.  
Что он им заладил неотвязно:  
"Граждане, послушайте меня...?"

Кто-то помидор со вкусом солит,

кто-то карты сальные мусолит,  
кто-то сапогами пол мозолит,  
кто-то у гармошки рвет меха.  
Но ведь сколько раз в любом кричало  
и шептало это же начало:  
"Граждане, послушайте меня..."

Кто-то их порой не слушал тоже.  
Распирая ребра и корежа,  
высказаться суть их не могла.  
И теперь, со вбитой внутрь душою,  
слышать не хотят они чужое:  
"Граждане, послушайте меня..."

Эх, солдат на фоне бочкотары,  
я такой же - только без гитары...  
Через реки, горы и моря  
я бреду и руки стираю  
и, уже охрипший, повторяю:  
"Граждане, послушайте меня..."

Страшно, если слушать не желают.  
Страшно, если слушать начинают.  
Вдруг вся песня, в целом-то, мелка,  
вдруг в ней все ничтожно будет, кроме  
этого мучительного с кровью:  
"Граждане, послушайте меня..."?!  
1963

## **ДАЙ БОГ!**

Дай бог слепцам глаза вернуть  
и спины выпрямить горбатым.  
Дай бог быть богом хоть чуть-чуть,  
но быть нельзя чуть-чуть распятым.

Дай бог не вляпаться во власть  
и не геройствовать подложно,  
и быть богатым — но не красть,  
конечно, если так возможно.

Дай бог быть тертым калачом,  
не сожранным ничьею шайкой,  
ни жертвой быть, ни палачом,

ни барином, ни попрошайкой.

Дай бог поменьше рваных ран,  
когда идет большая драка.  
Дай бог побольше разных стран,  
не потеряв своей, однако.

Дай бог, чтобы твоя страна  
тебя не пнула сапожищем.  
Дай бог, чтобы твоя жена  
тебя любила даже нищим.

Дай бог лжецам замкнуть уста,  
глас божий слыша в детском крике.  
Дай бог живым узреть Христа,  
пусть не в мужском, так в женском лике.

Не крест — бескрестье мы несем,  
а как сгибаемся убого.  
Чтоб не извериться во всем,  
Дай бог ну хоть немного Бога!

Дай бог всего, всего, всего  
и сразу всем — чтоб не обидно...  
Дай бог всего, но лишь того,  
за что потом не станет стыдно.  
1990

## **ДВА ГОРОДА**

Я, как поезд,  
    что мечется столько уж лет  
между городом Да  
    и городом Нет.  
Мои нервы натянуты,  
    как провода,  
между городом Нет  
    и городом Да!

Все мертво, все запугано в городе Нет.  
Он похож на обитый тоской кабинет.  
По утрам натирают в нем желчью паркет.  
В нем диваны - из фальши, в нем стены -  
    из бед.

В нем глядит подозрительно каждый портрет.  
В нем насупился замкнуто каждый предмет.  
Черта с два здесь получишь ты добрый совет,  
или, скажем, привет, или белый букет.  
Пишмашинки стучат под копирку ответ:

"Нет-нет-нет..."

Нет-нет-нет...

нет-нет-нет..."

А когда совершенно погасится свет,  
начинают в нем призраки мрачный балет.

Черта с два -

хоть подохни -

получишь билет,

чтоб уехать из черного города Нет...

Ну, а в городе Да - жизнь, как песня дрозда.

Этот город без стен, он - подобье гнезда.

С неба просится в руки любая звезда.

Просят губы любые твоих без стыда,  
бормоча еле слышно: "А,- все ерунда..." -

и сорвать себя просит, дразня, резеда,

и, мыча, молоко предлагают стада,

и ни в ком подозрения нет ни следа,

и куда ты захочешь, мгновенно туда

унесут поезда, самолеты, суда,

и, журча, как года, чуть лепечет вода:

"Да-да-да..."

Да-да-да...

Да-да-да..."

Только скучно, по правде сказать, иногда,  
что дается мне столько почти без труда  
в разноцветно светящемся городе Да...

Пусть уж лучше мечусь

до конца моих лет

между городом Да

и городом Нет!

Пусть уж нервы натянуты,

как провода,

между городом Нет

и городом Да!

1964

**ДВОРЕЦ**

Сказки, знаю нас - напрасно вы не молвитесь!  
Ведь недаром сон я помню до сих пор:  
я сижу у синя моря, добрый молодец.  
Я кручинюсь. Я оперся о топор.

Призывал меня вчера к себе царь-батюшка  
и такие мне говаривал слова:  
"На тебе, гляжу, заплатанное платьишко,  
да и лапти твои держатся едва.

Гей, возьмите, мои слуги, добра молодца,  
отведите его к синю морю вы.  
А не сделает к утру - пускай помолится.  
Не сносить ему шалавой головы!

Вы ведите его к морю, да не цацкайтесь!"  
Благодарно я склонился до земли.  
Подхватили меня крепко слуги царские  
и сюда, на эту кручу, привели.

Был не очень-то настроен веселиться я,  
как избавиться, не знал я, от беды.  
Вдруг я вижу что Премудрой Василисою  
появляешься ты прямо из воды!

На меня ты, подбодряя словно, глянула  
и, пройдя по морю синему пешком,  
трижды топнула решительно сафьяновым,  
шитым золотом заморским сапожком.

Там, где бровью указала чернодужною,  
затвердели волны глыбами земли.  
Где на землю кикю бросила жемчужную,  
там палаты камня белого взошли.

И смотрел, застыв на круче, удивленно я,  
как, улыбкой создавая острова,  
доставала ты, шутя, сады зеленые  
то из лева, то из права рукава.

Птиц пустила в небеса, мосты расставила.  
"Будь спокоен!- мне сказала.- Можешь спать".  
И скользнула легкой тенью, и растаяла,  
и оставила до случая опять.

А наутро просыпаюсь я от гомона.  
Вижу я - стоит народ, разинув рот.  
Вижу - движется ко мне толпа огромная,  
окружает и к царю меня ведет.

Царь дарит меня и милостью и ласкою  
(правда, милость государя до поры),  
но пока хожу, одет в наряды фряжские,  
и уже поют мне славу гусяры.

И не знают люди, чудом ослепленные,  
что не я - его действительный творец,  
что не мной сады посажены зеленые  
и построен белокаменный дворец...  
1952

## **ДОЛГИЕ КРИКИ**

*Ю. Казакову*

Дремлет избушка на том берегу.  
Лошадь белеет на темном лугу.  
Криком кричу и стреляю, стреляю,  
а разбудить никого не могу.

Хоть бы им выстрелы ветер донес,  
хоть бы услышал какой-нибудь пес!  
Спят как убитые... «Долгие крики» —  
так называется перевоз.

Голос мой в залах гремел, как набат,  
площади тряс его мощный раскат,  
а дотянуться до этой избушки  
и пробудить ее — он слабоват.

И для крестьян, что, устало дыша,  
спят, словно пашут, спят не спеша,  
так же неслышен мой голос, как будто  
шелест сосен и шум камыша.

Что ж ты, оратор, что ж ты, пророк?  
Ты растерялся, промок и продрог.  
Кончились пули. Сорван твой голос.  
Дождь заливают твой костерок.

Но не тужи, что обидно до слез.  
Можно о стольком подумать всерьез.  
Времени много... «Долгие крики» —  
так называется перевоз.  
1963

\* \* \*

### *Гале*

Дорога в дождь — она не сладость.  
Дорога в дождь — она беда.  
И надо же — какая слякоть,  
какая долгая вода!

Все затемненно — поле, струи,  
и мост, и силуэт креста,  
и мокрое мерцанье сбриуи,  
и всплески белые хвоста.

Еще недавно в чьем-то доме,  
куда под праздник занесло,  
я мандариновые дольки  
глотал непризнанно и зло.

Все оставляло злым, голодным —  
хозяйка пышная в песце  
и споры о романе модном  
и о приехавшем певце.

А нынче — поле с мокрой рожью,  
дорога, дед в дождевике,  
и тяжелы сырые вожжи  
в его медлительной руке.

Ему б в тепло, и дела мало!  
Ему бы водки да пивца!  
Не знает этого романа,  
не слышал этого певца.

Промокла кляча, одурела.  
Тоскливо хлюпают следы.  
Зевает возчик. Надоело

дождь вытряхать из бороды.  
1959

\* \* \*

Есть пустота от смерти чувств  
и от потери горизонта,  
когда глядишь на горе сонно  
и сонно радостям ты чужд.  
Но есть иная пустота.  
Нет ничего ее священной.  
В ней столько звуков и свечений.  
В ней глубина и высота.

Мне хорошо, что я в Крыму  
живу, себя от дел отринув,  
в несуетящемся кругу,  
кругу приливов и отливов.

Мне хорошо, что я ловлю  
на сизый дым похожий вереск,  
и хорошо, что ты не веришь,  
как сильно я тебя люблю.

Иду я в горы далеко,  
один в горах срываю груши,  
но мне от этого не грустно,—  
вернее, грустно, но легко.

Срываю розовый кизил  
с такой мальчишескостью жадной!  
Вот он по горлу заскользил —  
продолговатый и прохладный.

Лежу в каком-то шалаше,  
а на душе так пусто-пусто,  
и только внутреннего пульса  
биенье слышится в душе.

О, как над всею суетой  
блаженна сладость напоенья  
спокойной светлой пустотой —  
предшественницей наполнения!  
1960

## ЗАВИСТЬ

Завидую я.

Этого секрета  
не раскрывал я раньше никому.  
Я знаю, что живет мальчишка где-то,  
и очень я завидую ему.

Завидую тому,  
как он дерется,-  
я не был так бесхитростен и смел.

Завидую тому,  
как он смеется,-  
я так смеяться в детстве не умел.  
Он вечно ходит в ссадинах и шишках,-  
я был всегда причесанней, целей.  
Все те места, что пропускал я в книжках,  
он не пропустит.

Он и тут сильнее.  
Он будет честен жесткой прямою,  
злу не прощая за его добро,  
и там, где я перо бросал:

"Не стоит!"-  
он скажет:  
"Стоит!"- и возьмет перо.

Он если не развяжет,  
так разрубит,  
где я ни развяжу,  
ни разрублю.

Он, если уж полюбит,  
не разлюбит,  
а я и полюблю,  
да разлюблю.

Я скрою зависть.  
Буду улыбаться.

Я притворюсь, как будто я простак:  
"Кому-то же ведь надо ошибаться,  
кому-то же ведь надо жить не так".  
Но сколько б ни внушал себе я это,  
твердя:

"Судьба у каждого своя",-  
мне не забыть, что есть мальчишка где-то,  
что он добьется большего,  
чем я.

1955

## ЗАКЛИНАНИЕ

Весенней ночью думай обо мне  
и летней ночью думай обо мне,  
осенней ночью думай обо мне  
и зимней ночью думай обо мне.  
Пусть я не там с тобой, а где-то вне,  
такой далекий, как в другой стране,—  
на длинной и прохладной простыне  
покойся, словно в море на спине,  
отдавшись мягкой медленной волне,  
со мной, как с морем, вся наедине.

Я не хочу, чтоб думала ты днем.  
Пусть день перевернет все кверху дном,  
окурит дымом и зальет вином,  
заставит думать о совсем ином.  
О чем захочешь, можешь думать днем,  
а ночью — только обо мне одним.

Услышь сквозь паровозные свистки,  
сквозь ветер, тучи рвущий на куски,  
как надо мне, попавшему в тиски,  
чтоб в комнате, где стены так узки,  
ты жмурилась от счастья и тоски,  
до боли сжав ладонями виски.

Молю тебя — в тишайшей тишине,  
или под дождь, шумящий в вышине,  
или под снег, мерцающий в окне,  
уже во сне и все же не во сне —  
весенней ночью думай обо мне  
и летней ночью думай обо мне,  
осенней ночью думай обо мне  
и зимней ночью думай обо мне.

1960

\* \* \*

Зашумит ли клеверное поле,  
заскрипят ли сосны на ветру,

я замру, прислушаюсь и вспомню,  
что и я когда-нибудь умру.

Но на крыше возле водостока  
встанет мальчик с голубем тугим,  
и пойму, что умереть — жестоко  
и к себе, и, главное, к другим.

Чувства жизни нет без чувства смерти.  
Мы уйдем не как в песок вода,  
но живые, те, что мертвых сменяют,  
не заменят мертвых никогда.

Кое-что я в жизни этой понял,—  
значит, я недаром битым был.  
Я забыл, казалось, все, что помнил,  
но запомнил все, что я забыл.

Понял я, что в детстве снег пушистей,  
зеленее в юности холмы,  
понял я, что в жизни столько жизней,  
сколько раз любили в жизни мы.

Понял я, что тайно был причастен  
к стольким людям сразу всех времен.  
Понял я, что человек несчастен,  
потому что счастья ищет он.

В счастье есть порой такая тупость.  
Счастье смотрит пусто и легко.  
Горе смотрит, горестно потупясь,  
потому и видит глубоко.

Счастье — словно взгляд из самолета.  
Горе видит землю без прикрас.  
В счастье есть предательское что-то —  
горе человека не предаст.

Счастливым был и я неосторожно,  
слава богу — счастье не сбылось.  
Я хотел того, что невозможно.  
Хорошо, что мне не удалось.

Я люблю вас, люди-человеки,  
и стремленье к счастью вам прощу.

Я теперь счастливым стал навеки,  
потому что счастья не ищу.

Мне бы — только клевера сладинку  
на губах застывших убересть.  
Мне бы — только малую слабинку —  
все-таки совсем не умереть.  
1977

## ЗЛОСТЬ

Добро должно быть с кулаками.  
М. Светлов (из разговора)

Мне говорят,  
качая головой:  
"Ты подобрел бы.  
Ты какой-то злой".  
Я добрый был.  
Недолго это было.  
Меня ломала жизнь  
и в зубы била.  
Я жил  
подобно глупому щенку.  
Ударят -  
вновь я подставлял щеку.  
Хвост благодущья,  
чтобы злей я был,  
одним ударом  
кто-то отрубил!  
И я вам расскажу сейчас  
о злости,  
о злости той,  
с которой ходят в гости,  
и разговоры  
чинные ведут,  
и щипчиками  
сахар в чай кладут.  
Когда вы предлагаете  
мне чаю,  
я не скучаю -  
я вас изучаю,  
из блюдечка  
я чай смиренно пью

и, когти пряча,  
руку подаю.  
И я вам расскажу еще  
о злости...  
Когда перед собранием шепчут:  
"Бросьте!..  
Вы молодой,  
и лучше вы пишете,  
а в драку лезть  
покамест не спешите", -  
то я не уступаю  
ни черта!  
Быть злым к неправде -  
это доброта.  
Предупреждаю вас:  
я не излился.  
И знайте -  
я надолго разозлился.  
И нету во мне  
робости былой.  
И -  
интересно жить,  
когда ты злой!

1955

\* \* \*

Идут белые снега,  
как по нитке скользят...  
Жить и жить бы на свете,  
но, наверно, нельзя.

Чьи-то души бесследно,  
растворяясь вдали,  
словно белые снега,  
идут в небо с земли.

Идут белые снега...  
И я тоже уйду.  
Не печалюсь о смерти  
и бессмертья не жду.

я не верую в чудо,  
я не снег, не звезда,

и я больше не буду  
никогда, никогда.

И я думаю, грешный,  
ну, а кем же я был,  
что я в жизни поспешной  
больше жизни любил?

А любил я Россию  
всею кровью, хребтом -  
ее реки в разливе  
и когда подо льдом,

дух ее пятистенков,  
дух ее сосняков,  
ее Пушкина, Стеньку  
и ее стариков.

Если было несладко,  
я не шибко тужил.  
Пусть я прожил нескладно,  
для России я жил.

И надеждою маюсь,  
(полный тайных тревог)  
что хоть малую малость  
я России помог.

Пусть она позабудет,  
про меня без труда,  
только пусть она будет,  
навсегда, навсегда.

Идут белые снега,  
как во все времена,  
как при Пушкине, Стеньке  
и как после меня,

Идут снега большие,  
аж до боли светлы,  
и мои, и чужие  
заметая следы.

Быть бессмертным не в силе,  
но надежда моя:

если будет Россия,  
значит, буду и я.  
1965

\* \* \*

Из воды выходила женщина,  
удивленно глазами кося.  
Выходила свободно, торжественно,  
молодая и сильная вся.

Я глядел на летящие линии...  
Рядом громко играли в «козла»,  
но тяжелая белая лилия  
из волос ее черных росла.

Шум и смех пораженной компанийки:  
«Ишь ты, лилия — чудеса!» —  
а на синем ее купальнике  
бились алые паруса.

Шла она, белозубая, смуглая,  
желтым берегом наискосок,  
только слышались капли смутные  
с загорелого тела — в песок.

Будет в жизни хорошее, скверное,  
будут годы дробиться, мельчать,  
но и нынче я знаю наверное,  
что увижу я в смертный мой час.

Будет много святого и вещеого,  
много радости и беды,  
но увижу я эту женщину,  
выходящую из воды...  
1958

\* \* \*

К добру ты или к худу,  
решает время пусть.  
Но лишь с тобой побуду,  
я хуже становлюсь.

Ты мне звонишь нередко,  
но всякий раз в ответ,  
как я просил, соседка  
твердит, что дома нет.  
А ты меня тревожишь  
письмом любого дня.  
Ты пишешь, что не можешь  
ни часу без меня,  
что я какой-то странный,  
что нету больше сил,  
что Витька Силин пьяный  
твоей руки просил.  
Я полон весь то болью,  
то счастьем, то борьбой...  
Что делать мне с тобою?  
Что делать мне с собой?!  
Смотреть стараюсь трезво  
на все твои мечты.  
И как придумать средство,  
чтоб разлюбила ты?  
В костюме новом синем,  
что по заказу сшит,  
наверно, Витька Силин  
сейчас к тебе спешит.  
Он ревностен и стоек.  
В душе - любовный пыл.  
Он аспирант-историк  
и что-то там открыл.  
Среди весенних лужиц  
идет он через дождь,  
а ты его не любишь,  
а ты его не ждешь,  
а ты у Эрмитажа"  
стоишь, ко мне звоня,  
и знаешь - снова скажут,  
что дома нет меня.  
1953

## **КАЗНЬ СТЕНЬКИ РАЗИНА**

Как во столярной Москве белокаменной  
вор по улице бежит с булкой маковой.  
Не страшит его сегодня самосуд.  
Не до булок...  
Стеньку Разина везут!

Царь бутылочку мальвазии выдаивает,  
перед зеркалом свейским

        прыщ выдавливают,  
Примеряет новый перстень-изумруд -  
и на площадь...

        Стеньку Разина везут!  
Как за бочкой бокастой  
        бочоночек,  
за боярыней катит боярчоночек.  
Леденец зубенки весело грызут.

Нынче праздник!  
        Стеньку Разина везут!

Прет купец,  
        треща с гороха.  
Мчатся вскачь два скомороха.

Семенит ярыжка-плут...  
Стеньку Разина везут!!

В струпьях все,  
        едва живые  
старцы с вервием на вые,  
что-то шамкая,  
        ползут...

Стеньку Разина везут!  
И срамные девки тоже,  
под хмельком вскочив с рогожи,  
огурцом намазав рожи,  
шпарят рысью -

        в ляжках зуд...

Стеньку Разина везут!  
И под визг стрелецких жен,  
под плевки со всех сторон  
на расхристанной телеге  
плыл

        в рубахе белой  
        он.

Он молчал,  
        не утирался,  
весь оплеванный толпой,  
только горько усмехался,  
усмехался над собой:

"Стенька, Стенька,  
        ты как ветка,  
потерявшая листву.  
Как в Москву хотел ты въехать!  
Вот и въехал ты в Москву..."

Ладно,  
плюйте,  
плюйте,  
плюйте -  
все же радость задарма.  
Вы всегда плюете,  
люди,  
в тех,  
кто хочет вам добра.  
А добра мне так хотелось  
на персидских берегах  
и тогда,  
когда летелось  
вдоль по Волге на стругах!  
Что я ведал?  
Чьи-то очи,  
саблю,  
парус  
да седло...  
Я был в грамоте не очень...  
Может, это подвело?  
Дьяк мне бил с оттяжкой в зубы,  
приговаривал,  
ретив:  
"Супротив народа вздумал!  
Будешь знать, как супротив!"  
Я держался,  
глаз не прятал.  
Кровью харкал я в ответ:  
"Супротив боярства -  
правда.  
Супротив народа -  
нет".  
От себя не отрекаюсь,  
выбрав сам себе удел.  
Перед вами,  
люди, каюсь,  
но не в том,  
что дьяк хотел.  
Голова моя повинна.  
Вижу,  
сам себя казня:  
я был против -  
половинно,  
надо было -

до конца.  
Нет,  
не тем я, люди, грешен,  
что бояр на башнях вешал.  
Грешен я в глазах моих  
тем, что мало вешал их.  
Грешен тем,  
что в мире злобства  
был я добрый остолоп.  
Грешен тем,  
что, враг холопства,  
сам я малость был холоп.  
Грешен тем,  
что драться думал  
за хорошего царя.  
Нет царей хороших,  
дурень...  
Стенька,  
гибнешь ты зазря!"  
Над Москвой колокола гудут.  
К месту Лобному  
Стеньку ведут.  
Перед Стенькой,  
на ветру полоща,  
бьется кожанный передник палача,  
а в руках у палача  
над толпой  
голубой топор,  
как Волга, голубой.  
И плывут, серебрясь,  
по топору  
струги,  
струги,  
будто чайки поутру...  
И сквозь рыла,  
ряшки,  
хари  
целовальников,  
менял,  
словно блики среди хмари,  
Стенька  
ЛИЦА  
увидал.  
Были в ЛИЦАХ даль и высь,  
а в глазах,

угрюмо-вольных,  
словно в малых тайных Волгах,  
струи Стенькины неслись.  
Стоит все терпеть бесслезно,  
быть на дыбе,  
колесе,  
если рано или поздно  
прорастают  
ЛИЦА  
грозно  
у безликих на лице...  
И спокойно  
(не зазря он, видно, жил)  
Стенька голову на плаху положил,  
подбородок в край изрубленный упер  
и затылком приказал:  
"Давай, топор..."  
Покатилась голова,  
в крови горя,  
прохрипела голова:  
"Не зазря..."  
И уже по топору не струги -  
струйки,  
струйки...  
Что, народ, стоишь, не празднуя?  
Шапки в небо - и пляши!  
Но застыла площадь Красная,  
чуть колыша бердыши.  
Стихли даже скоморохи.  
Среди мертвой тишины  
перескакивали блохи  
с армяков  
на шушуны.  
Площадь что-то поняла,  
площадь шапки сняла,  
и ударили три раза,  
клокоча,  
колокола.  
А от крови и чуба тяжела,  
голова еще ворочалась,  
жила.  
С места Лобного подмоклого  
туда,  
где голытьба,  
взгляды

письмами подметными  
швыряла голова...  
Суется,  
    дрожащий попик подлетел,  
веки Стенькины закрыть он хотел.  
Но, напружившись,  
    по-зверьи страшны,  
оттолкнули его руку зрачки.  
На царе  
    от этих чертовых глаз  
зябко  
    шапка Мономаха затряслась,  
и, жестоко,  
    не скрывая торжества,  
над царем  
    захохотала  
        голова!..  
1964

## **КАРЛИКОВЫЕ БЕРЕЗЫ**

*В. Новокшенову*

Мы - карликовые березы.  
Мы крепко сидим, как занозы,  
у вас под ногтями, морозы.

И вечномерзлотное ханство  
идет на различные хамства,  
чтоб нас попригнуть еще ниже,  
Вам странно, каштаны в Париже?

Вам больно, надменные пальмы,  
как вроде бы низко мы пали?  
Вам грустно, блюстители моды,  
какие мы все квазимоды?

В тепле вам приятна, однако,  
гражданская наша отвага,  
и шлете вы скорбно и важно  
поддержку моральную вашу.

Вы мыслите, наши коллеги,

что мы не деревья-калеки,  
но зелень, пускай некрасива,  
среди мерзлоты - прогрессивна.

Спасибочки. Как-нибудь сами  
мы выстоим под небесами,  
когда нас корежит по-зверски, -  
без вашей моральной поддержки,

Конечно, вы нас повольнее,  
зато мы корнями сильнее.  
Конечно же мы не в Париже,  
но в тундре нас ценят повыше.

Мы, карликовые березы.  
Мы хитро придумали позы,  
но все это только притворство.  
Прижатость есть вид непокорства.

Мы верим, сгибаясь увечно,  
что вечномерзлотность - невечна,  
что эту паскудину стронет,  
и вырвем мы право на стройность.

Но если изменится климат,  
то вдруг наши ветви не примут  
иных очертаний - свободных?  
Ведь мы же привыкли - в уродах.

И это нас мучит и мучит,  
а холод нас крючит и крючит.  
Но крепко сидим, как занозы,  
мы - карликовые березы.

1966

## **КАРТИНКА ДЕТСТВА**

Работая локтями, мы бежали, -  
кого-то люди били на базаре.  
Как можно было это просмотреть!  
Спеша на гвалт, мы прибавляли ходу,  
зачерпывая валенками воду  
и сопли забывали утереть.

И замерли. В сердчишках что-то сжалось,  
когда мы увидели, как сужалось  
кольцо тулупов,дох и капелюх,  
как он стоял у овощного ряда,  
вобравши в плечи голову от града  
тычков, пинков, плевков и оплеух.

Вдруг справа кто-то в санки дал с оттяжкой.  
Вдруг слева залепили в лоб ледяшкой.  
Кровь появилась. И пошло всерьез.  
Все вздыбились. Все скопом завизжали,  
обрушившись дрекольем и вожжами,  
железными штырями от колес.

Зря он хрипел им: "Братцы, что вы, братцы..." -  
толпа сполна хотела рассчитаться,  
толпа глухою стала, разъярясь.  
Толпа на тех, кто плохо бил, роптала,  
и нечто, с телом схожее, топтала  
в снегу весеннем, превращенном в грязь.

Со вкусом били. С выдумкою. Сочно.  
Я видел, как сноровисто и точно  
лежачему под самый-самый дых,  
извожены в грязи, в навозной жиже,  
всё добавляли чьи-то сапожищи,  
с засаленными ушками на них.

Их обладатель - парень с честной мордой  
и честностью своею страшно гордый -  
все бил да приговаривал: "Шалишь!..."  
Бил с правотой уверенной, весомой,  
и, взмокший, раскрасневшийся, веселый,  
он крикнул мне: "Добавь и ты, малыш!"

Не помню, сколько их, галдевших, било.  
Быть может, сто, быть может, больше было,  
но я, мальчишка, плакал от стыда.  
И если сотня, воя оголтело,  
кого-то бьет,- пусть даже и за дело! -  
сто первым я не буду никогда!  
1963

**КАРЬЕРА**

*Ю. Васильеву*

Твердили пастыри, что вреден  
и неразумен Галилей,  
но, как показывает время:  
кто неразумен, тот умней.

Ученый, сверстник Галилея,  
был Галилея не глупее.  
Он знал, что вертится земля,  
но у него была семья.

И он, садясь с женой в карету,  
свершив предательство свое,  
считал, что делает карьеру,  
а между тем губил ее.

За осознание планеты  
шел Галилей один на риск.  
И стал великим он... Вот это  
я понимаю - карьерист!

Итак, да здравствует карьера,  
когда карьера такова,  
как у Шекспира и Пастера,  
Гомера и Толстого... Льва!

Зачем их грязью покрывали?  
Талант - талант, как ни клейми.  
Забыты те, кто проклинали,  
но помнят тех, кого кляли.

Все те, кто рвались в стратосферу,  
врачи, что гибли от холер,-  
вот эти делали карьеру!  
Я с их карьер беру пример.

Я верю в их святую веру.  
Их вера - мужество мое.  
Я делаю себе карьеру  
тем, что не делаю ее!  
1957

\* \* \*

Качался старый дом, в хорал слагая скрипы,  
и нас, как отпевал, отскрипывал хорал.  
Он чуял, дом-скрипун, что медленно и скрытно  
в нем умирала ты, и я в нем умирал.

«Постойте умирать!»— звучало в ржанье с луга,  
в протяжном вое псов и сосенной волшбе,  
но умирали мы навеки друг для друга,  
а это все равно что умирать вообще.

А как хотелось жить! По соснам дятел чокал,  
и бегал еж ручной в усадебных грибах,  
и ночь плыла, как пес, косматый, мокрый, черный,  
кувшинкою речной держа звезду в зубах.

Дышала мгла в окно малиною сырою,  
а за моей спиной — все видела спина!—  
с платоновскою Фро, как с найденной сестрою,  
измученная мной, любимая спала.

Я думал о тупом несовершенстве браков,  
о подлости всех нас – предателей, врунов:  
ведь я тебя любил, как сорок тысяч братьев,  
и я тебя губил, как столько же врагов.

Да, стала ты другой. Твой злой прищур нещаден,  
насмешки над людьми горьки и солонны.  
Но кто же, как не мы, любимых превращает  
в таких, каких любить уже не в силах мы?

Какая же цена ораторскому жару,  
когда, расшвыряя вдрызг по сценам и клише,  
хотел я счастье дать всему земному шару,  
а дать его не смог — одной живой душе?!

Да, умирали мы, но что-то мне мешало  
уверовать в твое, в мое небытие.  
Любовь еще была. Любовь еще дышала  
на зеркальце в руках у слабых уст ее.

Качался старый дом, скрипел среди крапивы  
и выдержку свою нам предлагал займы.  
В нем умирали мы, но были еще живы.



кого мы презираем!  
Но, к нашему счастью,  
магнитофоны  
Не выкрадут  
наши предсмертные стоны.  
Ты пел для студентов Москвы  
и Нью-Йорка,  
Для части планеты,  
чье имя - "галерка".  
И ты к приискателям  
на вертолете  
Спускался и пел у костров на болоте.  
Ты был полу-Гамлет и полу-Челкаш.  
Тебя торгоши не отнимут.  
Ты наш...  
Тебя хоронили, как будто ты гений.  
Кто - гений эпохи. Кто - гений мгновений.  
Ты - бедный наш гений семидесятых  
И бедными гениями небогатых.  
Для нас Окуджава  
был Чехов с гитарой.  
Ты - Зощенко песни  
с есенинкой ярой,  
И в песнях твоих,  
раздирающих душу,  
Есть что-то  
от сиплого хрипа Хлопуши!  
...Киоск звукозаписи  
около пляжа.  
Жизнь кончилась.  
И началась распродажа.

## **КЛАДБИЩЕ КИТОВ**

*В. Наумову*

На кладбище китов  
на снеговом погосте  
стоят взамен крестов  
их собственные кости.  
Они не по зубам —  
все зубы мягковаты.  
Они не по супам —

кастрюли мелковаты.  
Их вьюга, тужась, гнет,  
но держатся — порядок!—  
вколоченные в лед,  
как дуги черных радуг.  
Горбатый эскимос,  
тоскующий по стопке,  
как будто бы вопрос,  
в них заключен, как в скобки.  
Кто резво щелкнул там?  
Ваш фотопыл умерьте!  
Дадим покой китам  
хотя бы после смерти.  
А жили те киты,  
людей не обижая,  
от детской простоты  
фонтаны обожая.  
И солнца красный шар  
плясал на струях белых...  
«Киты по борту! Жарь!  
Давай, ребята, бей их!»  
Спасись куда-нибудь?  
Но ты — пространства шире.  
А под воду нырнуть —  
воды не хватит в мире.  
Ты думаешь, ты бог?  
Рисковая нескромность.  
Гарпун получишь в бок  
расплатой за огромность.  
Огромность всем велит  
охотиться за нею.  
Тот дурень, кто велик.  
Кто мельче — тот умнее.  
Плотва, как вермишель.  
Среди ее безличья  
дразнящая мишень — беспомощность величья!  
Бинокли на борту  
в руках дрожат, нацелясь,  
и с гарпуном в боку  
Толстой бежит от «цейсов».  
Величью мель страшна.  
На камни брошен гонкой,  
обломки гарпуна  
выхаркивает Горький<sup>1</sup>.  
Кровав китовый сан.

Величье убивает,  
и Маяковский<sup>2</sup> сам  
    гарпун в себя вбивает.  
Китеныш, а не кит,  
    но словно кит оцеплен,  
гарпунным тросом взвит,  
    качается Есенин<sup>3</sup>.  
Почти не простонав,  
    по крови, как по следу,  
уходит Пастернак<sup>4</sup>  
    с обрывком троса в Лету.  
Хемингуэй молчит,  
    но над могилой грозно  
гарпун в траве торчит,  
    проросший ввысь из гроба.  
И, скрытый за толпой,  
    кровавым занят делом  
даласский китобой  
    с оптическим прицелом.  
...Идет большой загон,  
    а после смерти — ласка.  
Честнее твой закон,  
    жестокая Аляска.  
На кладбище китов  
    у ледяных торосов  
нет ханжеских цветов —  
    есть такт у эскимосов.  
Эх, эскимос-горбун,—  
    у белых свой обычай:  
сперва всадив гарпун,  
    поплакать над добычей.  
Скорбят смиренней дев,  
    сосут в слезах пилюли  
убийцы, креп надев,  
    в почетном карауле.  
И промысловики,  
    которым здесь не место,  
несут китам венки  
    от Главгарпунотреста.  
Но скручены цветы  
    стальным гарпунным тросом  
Довольно доброты!  
    Пустите к эскимосам!

1967

\* \* \*

Когда взошло твое лицо  
над жизнью скомканной моею,  
вначале понял я лишь то,  
как скудно все, что я имею.

Но рощи, реки и моря  
оно особо осветило  
и в краски мира посвятило  
непосвященного меня.

Я так боюсь, я так боюсь  
конца нежданного восхода,  
конца открытий, слез, восторга,  
но с этим страхом не борюсь.

Я помню - этот страх  
и есть любовь. Его лелею,  
хотя лелеять не умею,  
своей любви небрежный страж.

Я страхом этим взят в кольцо.  
Мгновенья эти - знаю - кратки,  
и для меня исчезнут краски,  
когда зайдет твое лицо...  
1960

\* \* \*

Когда мужики ряболицы,  
папахи и бескозырки,  
шли за тебя,  
        революция,  
то шли они бескорыстно.  
Иные к тебе привязывались  
преданно,  
        честно,  
        выстраданно.  
Другие к тебе примазывались —  
им это было выгодно.  
Они,  
        изгибаясь,  
        прислуживали,

они,  
извиваясь,  
льстили  
и предавали при случае —  
это вполне в их стиле.  
Гладеньки,  
бархатисты,  
плохого не порицали,  
а после —  
шли в бургомистры,  
а после —  
шли в полицаи.  
Я знаю эту породу.  
Я сыт этим знанием по горло.  
Они  
в любую погоду —  
такие,  
как эта погода.  
Им,  
кто юлит, усердствуя,  
и врет на собраниях всласть,  
не важно,  
что власть Советская,  
а важно им то,  
что власть.  
А мне  
это очень важно  
и потому тревожно.  
За это я умер бы  
дважды  
и трижды —  
если бы можно!  
Пусть у столов они вьются,  
стараятся —  
кто ловчее.  
Нужны тебе,  
революция,  
солдаты,  
а не лакеи.  
Улыбка лакея приятельская —  
он все, что угодно, подаст.  
  
Душа у лакея предательская —  
он все, что угодно, продаст.

Солдаты —  
народ нельстивый,  
ершистый они народ.  
Солдат перед ложью не стихнет,  
солдат на других не наврет.  
Ершистые и колючие,  
сложная ваша участь.

Какие обиды горючие  
терпели вы за колючесть!  
Вы столько их получали,  
столько на вас плели.

Но шли вы куда —  
в полицаи?—  
Вы в партизаны шли!  
Как те мужики ряболицые,  
папахи и бескозырки,—  
шли вы  
за революцию,  
шли умирать бескорыстно.  
За ваше служение истине,  
за верность ей в годы бед  
считаю  
вас коммунистами —  
партийные вы или нет.  
В бою вы за правду пали.  
Вступаю за вами в бой,  
и, беспартийный парень,  
я,  
революция,  
твой!

Излишне меня обижают —  
но это не страшно мне.  
Излишне меня обожают —  
и это не страшно мне.  
Не страшно,  
что плохо любитя,  
что грустен, как на беду.  
Мне страшно,  
что революцию  
хоть в чем-нибудь подведу.  
Мне еще много помучиться,  
но буду прям до конца,

и из меня не получится  
вкрадчивого льстеца.  
И пусть не в пример неискренним,  
рассчитанным чьим-то словам:  
«Считайте меня коммунистом!» —  
вся жизнь моя скажет вам.

## **КОГДА МУЖЧИНЕ СОРОК ЛЕТ**

Когда мужчине сорок лет,  
ему пора держать ответ:  
душа не одряхлела?—  
перед своими сорока,  
и каждой каплей молока,  
и каждой крошкой хлеба.

Когда мужчине сорок лет,  
то снисхожденья ему нет  
перед собой и перед богом.  
Все слезы те, что причинил,  
все сопли лживые чернил  
ему выходят боком.

Когда мужчине сорок лет,  
то наложить пора запрет  
на жажду удовольствий:  
ведь если плоть не побороть,  
урчит, облизываясь, плоть -  
съесть душу удалось ей.

И плоти, в общем-то, кранты,  
когда вконец замуслен ты,  
как лже-Христос, губами.  
Один роман, другой роман,  
а в результате лишь туман  
и голых баб - как в бане.

До сорока яснее цель.  
До сорока вся жизнь как хмель,  
а в сорок лет - похмелье.  
Отяжелела голова.  
Не сочетаются слова.  
Как в яме - новоселье.

До сорока, до сорока  
схватить удачу за рога  
на ярмарку мы скачем,  
а в сорок с ярмарки пешком  
с пустым мешком бредем тишком.  
Обворовали - плачем.

Когда мужчине сорок лет,  
он должен дать себе совет:  
от ярмарки подальше.  
Там не обманешь - не продашь.  
Обманешь - сам уже торгаш.  
Таков закон продажи.

Еще противней ржать, дрожа,  
конем в руках у торгаша,  
сквалыги, живоглота.  
Два равнозначные стыда:  
когда торгуешь и когда  
тобой торгует кто-то.

Когда мужчине сорок лет,  
жизнь его красит в серый цвет,  
но если не каурым -  
будь серым в яблоках конем  
и не продай базарным днем  
ни яблока со шкуры.

Когда мужчине сорок лет,  
то не сошелся клином свет  
на ярмарочном гаме.  
Все впереди - ты погоди.  
Ты лишь в комедь не угоди,  
но не теряйся в драме!

Когда мужчине сорок лет,  
или распад, или расцвет -  
мужчина сам решает.  
Себя от смерти не спасти,  
но, кроме смерти, расцвести  
ничто не помешает.

1972

## КОГДА УБИЛИ ЛОРКУ

Когда убили Лорку,-  
а ведь его убили!-  
жандарм дразнил молодку,  
красуясь на кобыле.

Когда убили Лорку,-  
а ведь его убили!-  
сограждане ни ложку,  
ни миску не забыли.

Поубиваясь малость,  
Кармен в наряде модном  
с живыми обнималась -  
ведь спать не ляжешь с мертвым.

Знакомая гадалка  
слонялась по халупам.  
Ей Лорку было жалко,  
но не гадают трупам.

Жизнь оставалась жизнью -  
и запивохи рожа,  
и свиньи в желтой жиже,  
и за корсажем роза.

Остались юность, старость,  
и нищие, и лорды.  
На свете все осталось -  
лишь не осталось Лорки.

И только в пыльной лавке  
стояли, словно роты,  
не веря смерти Лорки  
игрушки-донкихоты.

Пусть царят невежды  
и лживые гадалки,  
а ты живи надеждой,  
игрушечный гидальго!

Средь сувенирной швали  
они, вздымая горько  
смешные крошки-шпаги,

кричали: "Где ты, Лорка?"

Тебя ни вяз, ни ива  
не скинули со счетов.  
Ведь ты бессмертен,- ибо  
из нас, из донкихотов!"

И пели травы ломко,  
и журавли трубили,  
что не убили Лорку,  
когда его убили.

\* \* \*

*И. Глазунову*

Когда я думаю о Блоке<sup>1</sup>,  
когда тоскую по нему,  
то вспоминаю я не строки,  
а мост, пролетку и Неву.  
И над ночными голосами  
чеканный облик седока —  
круги под страшными глазами  
и черный очерк сюртука.  
Летят навстречу свету, тени,  
дробятся звезды в мостовых,  
и что-то выше, чем смятенье,  
в сплетенье пальцев восковых.  
И, как в загадочном прологе,  
чья суть смутна и глубока,  
в тумане тают стук пролетки,  
булыжник, Блок и облака...  
1957

\* \* \*

Лифтерше Маше под сорок.  
Грызет она грустно подсолнух,  
и столько в ней детской забитости  
и женской кричащей забытости!  
Она подружилась с Тонечкой,  
белесой девочкой тощенькой,

отцом-забулдыгой замученной,  
до бледности в школе заученной.

Заметил я -

робко, по-детски  
поют они вместе в подъезде.

Вот слышу -

запела Тонечка.

Поет она тоненько-тоненько.

Протяжно и чисто выводит...

Ах, как у ней это выходит!

И ей подпевает Маша,  
обняв ее,

будто бы мама.

Страдая поют и блаженствуя,  
две грусти -

ребячья и женская.

Ах, пойте же,

пойте подольше,  
еще погрустнее,  
потоньше.

Пойте,

пока не устанете...

Вы никогда не узнаете,  
что я,

благодарный случаю,  
пение ваше слушаю,  
рукою щеку подпираю  
и молча вам подпеваю.

1955

## ЛИШНЕЕ ЧУДО

*Т.П.*

Все, ей-богу же, было бы проще  
и, наверно, добрей и мудрей,  
если б я не сорвался на просьбе —  
необдуманной просьбе моей.

И во мгле, настороженной чутко,  
из опавших одежд родилось  
это белое лишнее чудо  
в грешном облаке темных волос.

А когда я на улицу вышел,  
то случилось, чего я не ждал,  
только снег над собою услышал,  
только снег под собой увидал.

Было в городе строго и лыжно.  
Под сугробами спряталась грязь,  
и летели сквозь снег неподвижно  
опушенные краны, кренясь.

Ну зачем, почему и откуда,  
от какой неразумной любви  
это новое лишнее чудо  
вдруг свалилось на плечи мои?

Лучше б, жизнь, ты меня ударяла —  
из меня наломала бы дров,  
чем бессмысленно так одаряла,—  
тяжелее от этих даров.

Ты добра, и к тебе не придраться,  
но в своей сердобольности зла.  
Если б ты не была так прекрасна,  
ты бы страшной такой не была.

И тот бог, что кричит из-под спуда  
где-то там, у меня в глубине,  
тоже, может быть, лишнее чудо?  
Без него бы спокойнее мне?

Так по белым пустым тротуарам,  
и казнясь и кого-то казня,  
брел и брел я, раздавленный даром  
красоты, подкосившей меня...

1965

## **ЛУЧШИМ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ**

Лучшие  
из поколения,  
цвести вам —  
не увядать!  
Вашего покорения  
бедам —

не увидеть!  
Разные будут случаи —  
будьте сильны и дружны.  
Вы ведь на то и лучшие —  
выстоять вы должны.  
Вам петь,  
    вам от солнца жмуриться,  
но будут и беды  
    и боль...  
Благословите на мужество!  
Благословите на бой!  
Возьмите меня в наступление —  
не упрекнете ни в чем.  
Лучшие  
    из поколения,  
возьмите меня трубачом!  
Я буду трубить наступление,  
ни нотой не изменю,  
а если не хватит дыхания,  
трубу на винтовку сменю.  
Пускай, если даже погибну,  
не сделав почти ничего,  
строгие ваши губы  
коснутся лба моего.  
1957

## **ЛЮБИМАЯ, СПИ!**

Соленые брызги блестят на заборе.  
Калитка уже на запоре.  
    И море,  
дымясь, и вздымаясь, и дамбы долбя,  
соленое солнце всосало в себя.  
Любимая, спи...  
    Мою душу не мучай,  
Уже засыпают и горы, и степь,  
И пес наш хромучий,  
    лохмато-дремучий,  
Ложится и лижет соленую цепь.  
И море - всем топотом,  
    и ветви - всем ропотом,  
И всем своим опытом -  
    пес на цепи,  
а я тебе - шёпотом,

потом - полушёпотом,  
Потом - уже молча:  
"Любимая, спи..."  
Любимая, спи...  
Позабудь, что мы в ссоре.  
Представь:  
просыпаемся.  
Свежесть во всем.  
Мы в сене.  
Мы сони.  
И дышит мацони  
откуда-то снизу,  
из погреба,-  
в сон.  
О, как мне заставить  
все это представить  
тебя, недоверу?  
Любимая, спи...  
Во сне улыбайся.  
(все слезы отставить!),  
цветы собирай  
и гадай, где поставить,  
и множество платьев красивых купи.  
Бормочется?  
Видно, устала ворочаться?  
Ты в сон завернись  
и окутайся им.  
Во сне можно делать все то,  
что захочется,  
все то,  
что бормочется,  
если не спим.  
Не спать безрассудно,  
и даже подсудно,-  
ведь все,  
что подспудно,  
кричит в глубине.  
Глазам твоим трудно.  
В них так многолюдно.  
Под веками легче им будет во сне.  
Любимая, спи...  
Что причина бессоницы?  
Ревущее море?  
Деревьев мольба?  
Дурные предчувствия?

Чья-то бессовестность?  
А может, не чья-то,  
а просто моя?  
Любимая, спи...  
Ничего не попишешь,  
но знай,  
что невинен я в этой вине.  
Прости меня - слышишь?-  
люби меня - слышишь?-  
хотя бы во сне,  
хотя бы во сне!  
Любимая, спи...  
Мы - на шаре земном,  
свирепо летящем,  
грозящем взорваться,-  
и надо обняться,  
чтоб вниз не сорваться,  
а если сорваться -  
сорваться вдвоем.  
Любимая, спи...  
Ты обид не копи.  
Пусть сонники тихо в глаза заселяются,  
Так тяжело на шаре земном засыпается,  
и все-таки -  
слышишь, любимая?-  
спи...  
И море - всем топотом,  
и ветви - всем ропотом,  
И всем своим опытом -  
пес на цепи,  
а я тебе - шёпотом,  
потом - полушёпотом,  
Потом - уже молча:  
"Любимая, спи..."

1964

## **ЛЮБОВЬ ПО-ПОРТУГАЛЬСКИ**

Ночь, как раны, огни зализала.  
Смотрят звезды глазками тюрьмы,  
ну а мы под мостом Салазара —  
в его черной-пречерной тени.

Оказал нам диктатор услугу,

и, ему под мостом не видны,  
эмигрируем в губы друг к другу  
мы из этой несчастной страны.

Под мостом из бетона и страха,  
под мостом этой власти тупой  
наши губы — прекрасные страны,  
где мы оба свободны с тобой.

Я ворую свободу, ворую,  
и в святой уворованный миг  
счастлив я, что хотя б в поцелуе  
бесцензурен мой грешный язык.

Даже в мире, где правят фашисты,  
где права у людей так малы,  
остаются ресницы пушисты,  
а под ними иные миры.

Но, одетая в тоненький плащик,  
мне дарящая с пальца кольцо,  
португалочка, что же ты плачешь?  
Я не плачу. Я выплакал все.

Дай мне губы. Прижмись и не думай.  
Мы с тобою, сестренка, слабы  
под мостом, как под бровью угрюмой  
две невидимых миру слезы...  
*1967, Лиссабон*

\* \* \*

### *С. Преображенскому*

Людей неинтересных в мире нет.  
Их судьбы — как истории планет.  
У каждой все особое, свое,  
и нет планет, похожих на нее.

А если кто-то незаметно жил  
и с этой незаметностью дружил,  
он интересен был среди людей  
самой неинтересностью своей.

У каждого — свой тайный личный мир.  
Есть в мире этом самый лучший миг.  
Есть в мире этом самый страшный час,  
но это все неведомо для нас.

И если умирает человек,  
с ним умирает первый его снег,  
и первый поцелуй, и первый бой...  
Все это забирает он с собой.

Да, остаются книги и мосты,  
машины и художников холсты,  
да, многому остаться суждено,  
но что-то ведь уходит все равно!

Таков закон безжалостной игры.  
Не люди умирают, а миры.  
Людей мы помним, грешных и земных.  
А что мы знали, в сущности, о них?

Что знаем мы про братьев, про друзей,  
что знаем о единственной своей?  
И про отца родного своего  
мы, зная все, не знаем ничего.

Уходят люди... Их не вернуть.  
Их тайные миры не возродить.  
И каждый раз мне хочется опять  
от этой невозвратности кричать.  
1961

## **МАША**

Вдоль моря быстро девочка проходит,  
бледнея, розовея и дичась.  
В ней все восходит... Что с ней происходит?  
В ней возникает женщина сейчас.

Она у моря тапочки снимает,  
вступает, словно в музыку, в него,  
и все она на свете понимает,  
хотя не понимает ничего.

Рассудок трезвый, безрассудства масса,

взгляд из-под чуткой челки через всех  
и снова вниз... Все это вместе Маша —  
серьезный большеглазый человек.

И у меня пересыхает нёбо,  
когда, забыв про чей-то взрослый суд,  
мальчишеские тоненькие ноги  
ее ко мне беспомощно несут.

Я надеваю трубчатую маску.  
Плывет и Маша где-то надо мной.  
Я сквозь стекло ищу глазами Машу  
среди цветов и крабов, как хмельной.

И вижу я в зеленой толще светлой  
над бурю подводною грядой —  
колышутся, как беленькие стебли,  
мальчишеские ноги под водой.

И я плыву, плыву в подводных чащах,  
плыву я, воду лапами кроя,  
и я несчастлив от того, что счастлив,  
и снова счастлив, что несчастлив я.

Что мне сказать? Пусть не боится мама —  
тебе не причиню я, Маша, зла.  
Мне от тебя немного надо, Маша,  
и очень много — чтобы ты была.

В раздумиях о вечности и смерти,  
охваченный надеждой и тоской,  
гляжу сквозь твое тоненькое сердце,  
как сквозь прозрачный камушек морской.  
1958

\* \* \*

Меняю славу на бесславье,  
ну, а в президиуме стул  
на место теплое в канаве,  
где хорошенько бы заснул.

Уж я бы выложил всю душу,  
всю мою смертную тоску

вам, лопухи, в седые уши,  
пока бы ерзал на боку.

И я проснулся бы, небритый,  
среди вас, букашки-мураши,  
ах, до чего ж незначительный —  
ну хоть «Цыганочку» пляши.

Вдали бы кто-то рвался к власти,  
держался кто-нибудь за власть,  
и мне-то что до той напасти,—  
мне из канавы не упасть.

И там в обнимку с псом лишайным  
в такой приятельской пыли  
я все лежал бы и лежал бы  
на высшем уровне — земли.

И рядом плыли бы негрешно  
босые девичьи ступни,  
возы роняли бы небрежно  
травинки бледные свои.

...Швырнет курительщик со скамейки  
в канаву смятый коробок,  
и мне углами губ с наклейки  
печально улыбнется Блок<sup>1</sup>.  
1966

\* \* \*

Много слов говорил умудренных,  
много гладил тебя по плечу,  
а ты плакала, словно ребенок,  
что тебя полюбить не хочу.

И рванулась ты к ливню и к ветру,  
как остаться тебя ни просил.  
Черный зонт то тянул тебя кверху,  
то, захлопавши, вбок относил.

И как будто оно опустело,  
погруженное в забытие,  
это детское тонкое тело,

это хрупкое тело твое.

И кричали вокруг водостоки,  
словно криком кричал белый свет:  
"Мы жестоки, жестоки, жестоки,  
и за это пощады нам нет".

Все жестоко - и крыши, и стены,  
и над городом неспроста  
телевизорные антенны,  
как распятия без Христа...  
*Август 1957*

## **МОЕЙ СОБАКЕ**

В стекло уткнувши черный нос,  
все ждет и ждет кого-то пес.

Я руку в шерсть его кладу,  
и тоже я кого-то жду.

Ты помнишь, пес, пора была,  
когда здесь женщина жила.

Но кто же мне была она —  
не то сестра, не то жена,

а иногда, казалось, — дочь,  
которой должен я помочь.

Она далеко... Ты притих.  
Не будет женщин здесь других.

Мой славный пес, ты всем хорош,  
и только жаль, что ты не пьешь!  
*1958*

## **МОЙ ПЕС**

В стекло уткнув свой черный нос,  
все ждет и ждет кого-то пес.

Я руку в шерсть его кладу,

и тоже я кого-то жду.

Ты помнишь, пес, пора была,  
когда здесь женщина жила.

Но кто же мне была она?  
Не то сестра, не то жена.

А иногда, казалось, дочь,  
которой должен я помочь.

Она далеко... Ты притих.  
Не будет женщин здесь других.

Мой славный пес, ты всем хорош,  
и только жаль, что ты не пьешь!  
1958

## **МОЛИТВА**

Униженьями и страхом  
Заставляют быть нас прахом,  
Гасят в душах божий свет.  
Если гордость мы забудем,  
Мы лишь серой пылью будем  
Под колесами карет.

Можно бросить в клетку тело,  
Чтоб оно не улетело  
Высоко за облака,  
А душа сквозь клетку к богу  
Все равно найдет дорогу,  
Как пушиночка, легка.

Жизнь и смерть - две главных вещи.  
Кто там зря на смерть клеветает?  
Часто жизни смерть нежней.  
Научи меня, Всевышний,  
Если смерть войдет неслышно,  
Улыбнуться тихо ей.

Помоги, господь,  
Все перебороть,  
Звезд не прячь в окошке,

Подари, господь,  
Хлебушка ломоть -  
Голубям на крошки.

Тело зябнет и болеет,  
На кострах горит и тлеет,  
Истлевает среди тьмы.  
А душа все не сдается.  
После смерти остается  
Что-то большее, чем мы.

Остаемся мы по крохам:  
Кто-то книгой, кто-то вздохом,  
Кто-то песней, кто - дитем,  
Но и в этих крошках даже,  
Где-то, будущего дальше,  
Умирая, мы живем.

Что, душа, ты скажешь богу,  
С чем придешь к его порогу?  
В рай пошлет он или в ад?  
Все мы в чем-то виноваты,  
Но боится тот расплаты,  
Кто всех меньше виноват.

Помоги, господь,  
Все перебороть,  
Звезд не прячь в окошке,  
Подари, господь,  
Хлебушка ломоть -  
Голубям на крошки.  
1996

## **МОЛИТВА ПЕРЕД ПОЭМОЙ**

Поэт в России - больше, чем поэт.  
В ней суждено поэтами рождаться  
лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства,  
кому уюта нет, покоя нет.

Поэт в ней - образ века своего  
и будущего призрачный прообраз.  
Поэт подводит, не впадая в робость,  
итог всему, что было до него.

Сумею ли? Культуры не хватает...  
Нахватанность пророчеств не сулит...  
Но дух России надо мной витает  
и дерзновенно пробовать велит.

И, на колени тихо становясь,  
готовый и для смерти, и победы,  
прошу смиренно помощи у вас,  
великие российские поэты...

Дай, Пушкин, мне свою певучесть,  
свою раскованную речь,  
свою пленительную участь -  
как бы шая, глаголом жечь.

Дай, Лермонтов, свой желчный взгляд,  
своей презрительности яд  
и келью замкнутой души,  
где дышит, скрытая в тиши,  
недоброты твоей сестра -  
лампада тайного добра.

Дай, Некрасов, уняв мою резвость,  
боль иссеченной музыки твоей -  
у парадных подъездов и рельсов  
и в просторах лесов и полей.  
Дай твоей неизящности силу.  
Дай мне подвиг мучительный твой,  
чтоб идти, волоча всю Россию,  
как бурлаки идут бечевой.

О, дай мне, Блок, туманность вещую  
и два кренящихся крыла,  
чтобы, тая загадку вечную,  
сквозь тело музыка текла.

Дай, Пастернак, смещение дней,  
смещение веток,  
сращение запахов, теней  
с мученьем века,  
чтоб слово, садом бормоча,  
цвело и зрело,  
чтобы вовек твоя свеча  
во мне горела.

Есенин, дай на счастье нежность мне  
к березкам и лугам, к зверью и людям  
и ко всему другому на земле,  
что мы с тобой так беззащитно любим.

Дай, Маяковский, мне  
    глыбастость,  
    буйство,  
    бас,  
непримиримость грозную к подонкам,  
чтоб смог и я,  
    сквозь время прорубясь,  
сказать о нем  
    товарищам-потомкам...

1964

## **МОНОЛОГ БЫВШЕГО ПОПА, СТАВШЕГО БОЦМАНОМ НА ЛЕНЕ**

Я был наивный инок. Целью  
мнил одноверность на Руси  
и обличал пороки церкви,  
но церковь — боже упаси!

От всех попов, что так убого  
людей морочили простых,  
старался выручить я бога,  
но — богохульником прослыл.

«Не так ты веришь!»— загалдели,  
мне отлучением грозя,  
как будто тайною владели —  
как можно верить, как нельзя.

Но я сквозь внешнюю железность  
у них внутри узрел червей.  
Всегда в чужую душу лезут  
за неимением своей.

О, лишь от страха монолитны  
они, прогнившие давно.  
Меняются митрополиты,  
но вечно среднее звено.

И выбивали изощренно  
попы, попята день за днем  
наивность веры, как из чрева  
ребенка, грязным сапогом.

И я учуял запах скверны,  
проникший в самый идеал.  
Всегда в предписанности веры  
безверье тех, кто предписал.

И понял я: ложь исходила  
не от ошибок испокон,  
а от хоругвей, из кадила,  
из глубины самих икон.

Служите службою исправной,  
а я не с вамп — я убег.  
Был раньше бог моею правдой,  
но только правда — это бог!

Я ухожу в тебя, Россия,  
жизнь за судьбу благодаря,  
счастливый, вольный поп-расстрига  
из лживого монастыря.

И я теперь на Лене боцман,  
и хорошо мне здесь до слез,  
и в отношенья мои с богом  
здесь никакой не лезет пес.

Я верю в звезды, женщин, травы,  
в штурвал и кореша плечо.  
Я верю в Родину и правду...  
На кой — во что-нибудь еще?!

Живые люди — мне иконы.  
Я с работягами в ладу,  
но я коленопреклоненно  
им не молюсь. Я их люблю.

И с верой истинной, без выгод,  
что есть, была и будет Русь,  
когда никто меня не видит,  
я потихонечку крещусь.

1967

## МОНОЛОГ ГОЛУБОГО ПЕСЦА

Я голубой на звероферме серой,  
но, цветом обреченный на убой,  
за непрогрызной проволочной сеткой  
не утешаюсь тем, что голубой.

И я бросаюсь в линьку. Я лютую,  
себя сдирая яростно с себя,  
но голубое, брызжа и ликуя,  
сквозь шкуру прет, предательски слепя.

И вою я, ознобно, тонко вою  
трубой косматой Страшного суда,  
прося у звезд или навеки волю,  
или хотя бы линьку навсегда.

Заезжий мистер на магнитофоне  
запечатлел мой вой. Какой простак!  
Он просто сам не выл, а мог бы тоже  
завыть, сюда попав,— еще не так.

И падаю я на пол, подыхаю,  
а все никак подохнуть не могу.  
Гляжу с тоской на мой родной Дахау  
и знаю — никогда не убегу.

Однажды, тухлой рыбой пообедав,  
увидел я, что дверь не на крючке,  
и прыгнул в бездну звездную побега  
с бездумностью, обычной в новичке.

В глаза летели лунные караты.  
Я понял, взяв луну в поводыри,  
что небо не разбито на квадраты,  
как мне казалось в клетке изнутри.

Я кувыркался. Я точил балясы  
с деревьями. Я был самым собой.  
И снег, переливаясь, не боялся  
того, что он такой же голубой.

Но я устал. Меня шатали вьюги.

Я вытащить не мог увязших лап,  
и не было ни друга, ни подруги.  
Дитя неволи — для свободы слаб.

Кто в клетке зачат — тот по клетке плачет,  
и с ужасом я понял, что люблю  
ту клетку, где меня за сетку прячут,  
и звероферму — родину мою.

И я вернулся, жалкий и побитый,  
но только оказался в клетке вновь,  
как виноватость сделалась обидой  
и превратилась в ненависть любовь.

На звероферме, правда, перемены.  
Душили раньше попросту в мешках.  
Теперь нас убивают современно —  
электротоком. Чисто как-никак.

Гляжу на эскимоску-звероводку.  
По мне скользит ласкательно рука,  
и чешут пальцы мой загривок кротко,  
но в ангельских глазах ее — тоска.

Она меня спасет от всех болезней  
и помереть мне с голоду не даст,  
но знаю, что меня в мой срок железный,  
как это ей положено,— предаст.

Она воткнет, пролив из глаз водицу,  
мне провод в рот, обманчиво шепча...  
Гуманны будьте к служащим! Введите  
на звероферме должность палача!

Хотел бы я наивным быть, как предок,  
но я рожден в неволе. Я не тот.  
Кто меня кормит — тем я буду предан.  
Кто меня гладит — тот меня убьет.  
1967

## **МОНОЛОГ ИЗ ДРАМЫ «ВАН-ГОГ»**

*Ю. Васильеву*

Мы те,  
кто в дальнее уверовал,—  
безденежные мастера.  
Мы с вами из ребра Гомерова,  
мы из Рембрандтова ребра.  
Не надо нам  
ни света чопорного,  
ни Магомета,  
ни Христа,  
а надо только хлеба черного,  
бумаги,  
глины  
и холста!  
Смещайтесь, краски,  
знаки нотные!  
По форме и земля стара —  
мы придадим ей форму новую,  
безденежные мастера!  
Пусть слышим то свистки,  
то лаянье,  
пусть дни превратности таят,  
мы с вами отомстим талантливо  
тем, кто не верит в наш талант!  
Вперед,  
ломая  
и угадывая!  
Вставайте, братья,—  
в путь пора.  
Какие с вами мы богатые,  
безденежные мастера!  
1957

## **МОРЕ**

"Москва - Сухуми"  
мчался через горы.  
Уже о море  
были разговоры.  
Уже в купе соседнем практиканты  
оставили  
и шахматы  
и карты.

Курортники толпились в коридоре,

смотрели в окна:

"Вскоре будет море!"

Одни,

схватив товарищей за плечи,  
свои припоминали  
с морем встречи.

А для меня

в музеях и квартирах  
оно висело в рамках под стеклом.  
Его я видел только на картинах  
и только лишь по книгам знал о нем.

И вновь соседей трогал я рукою,  
и был в своих вопросах

я упрямым:

"Скажите,- скоро?..

А оно - какое?"

"Да погоди,

сейчас увидишь сам..."

И вот - рывок,

и поезд - на просторе,  
и сразу в мире нету ничего:  
исчезло все вокруг -  
и только море,  
затихло все,  
и только шум его...

Вдруг вспомнил я:

со мною так же было.

Да, это же вот чувство,

но сильней,  
когда любовь уже звала,  
знобила,  
а я по книгам только знал о ней.

Любовь за невниманье упрекая,  
я приставал с расспросами к друзьям:

"Скажите,- скоро?..."

А она - какая?"

"Да погоди,

еще узнаешь сам..."

И так же, как сейчас,

в минуты эти,  
когда от моря стало так сине,  
исчезло все -

и лишь она на свете,  
затихло все -  
и лишь слова ее...  
1952

## МУКИ СОВЕСТИ

*Д. Шостаковичу*

Мы живем, умереть не готовясь,  
забываем поэтому стыд,  
но мадонной невидимой совесть  
на любых перекрестках стоит.

И бредут ее дети и внуки  
при бродяжьей клюке и суме —  
муки совести — странные муки  
на бессовестной к стольким земле.

От калитки опять до калитки,  
от порога опять на порог  
они странствуют, словно калики,  
у которых за пазухой — бог.

Не они ли с укором бессмертным  
тусклым ногтем стучали тайком  
в слюдяные окошечки смердов,  
а в хоромы царей — кулаком?

Не они ли на загнанной тройке  
мчали Пушкина<sup>1</sup> в темень пурги,  
Достоевского гнали в остроги  
и Толстому шептали: «Беги!»

Палачи понимали прекрасно:  
«Тот, кто мучится,— тот баламут.  
Муки совести — это опасно.  
Выбьем совесть, чтоб не было мук».

Но как будто набатные звуки,  
сотрясая их кров по ночам,  
муки совести — грозные муки  
проникали к самим палачам.

Ведь у тех, кто у кривды на страже,  
кто давно потерял свою честь,  
если нету и совести даже —  
муки совести вроде бы есть.

И покуда на свете на белом,  
где никто не безгрешен, никто,  
в ком-то слышится: «Что я наделал?»  
можно сделать с землей кое-что.

Я не верю в пророков наитья,  
во второй или в тысячный Рим,  
верю в тихое: «Что вы творите?»,  
верю в горькое: «Что мы творим?»

И целую вам темные руки  
у безверья на скользком краю,  
муки совести — светлые муки  
за последнюю веру мою.  
1966

\* \* \*

Мы перед чувствами немеем,  
мы их привыкли умерять,  
и жить еще мы не умеем  
и не умеем умирать.

Но, избегая вырождений,  
нельзя с мерзавцами дружить,  
как будто входим в дом враждебный,  
где выстрел надо совершить.

Так что ж, стрелять по цели - или  
чтоб чаю нам преподнесли,  
чтоб мы заряд не разрядили,  
а наследили и ушли?

И там найти, глотая воздух,  
для оправдания пример  
и, оглянувшись, бросить в воду  
невыстреливший револьвер.  
1955

## НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Я бужу на заре  
своего двухколесного друга.  
Мать кричит из постели:  
"На лестнице хоть не трезвонь!"  
Я свожу его вниз.  
По ступеням он скачет  
упруго.  
Стукнуть шину ладонью -  
и сразу подскочет ладонь!  
Я небрежно сажусь -  
вы посадки такой не видали!  
Из ворот выезжаю  
навстречу воскресному дню.  
Я качу по асфальту.  
Я весело жму на педали.  
Я бесстрашно гоню,  
и звоню,  
    и звоню,  
        и звоню...  
За Москвой петуха я пугаю,  
кривого и куцего.  
Белобрысому парню  
я ниппель даю запасной.  
Пью коричневый квас  
в пропылившемся городе Кунцево,  
привалившись спиной  
к нагретой цистерне квасной.  
Продавщица сдает  
мокрой мелочью сдачу.  
Свое имя скрывает:  
"Какие вы хитрые все".  
Улыбаясь: "Пока!",  
я к товарищу еду на дачу.  
И опять я спешу;  
и опять я шуршу по шоссе.  
Он сидит, мой товарищ,  
и мрачно строгаёт дубину  
на траве,  
    зеленеющей у гаража.  
Говорит мне:  
"Мячи вот украли...  
    Обидно..."  
И корит домработницу:

"Тоже мне страж...  
Хороша!"

Я молчу.

Я гляжу на широкие, сильные плечи.

Он о чем-то все думает,  
даже в беседе со мной.

Очень трудно ему.

На войне было легче.

Жизнь идет.

Юность кончилась вместе с войной.

Говорит он:

"Там душ.

Вот держи,  
утирайся".

Мы по рощице бродим,  
ругаем стихи и кино.

А потом за столом,  
на прохладной и тихой террасе,  
рядом с ним и женою  
тяну я сухое вино.

Вскоре я говорю:

"До свидания, Галя и Миша".

Из ворот он выходит,  
жена прислонилась к плечу.

Почему-то я верю:

он сможет,  
напишет...

Ну а если не сможет,  
и знать я о том не хочу.

Я качу!

Не могу я  
с веселостью прущей расстаться.

Грузовые в пути  
догоняю я махом одним.

Я за ними лечу  
в разреженном пространстве.

Па подъемах крутых  
прицепляюсь я к ним.

Знаю сам,  
что опасно!

Люблю я рискованность!

Говорят мне,  
гудя напряженно,

они:

"На подъеме поможем,

дадим тебе скорость,  
ну, а дальше уже,  
как сумеешь, гони".  
Я гоню что есть мочи!  
Я шутками лихо кидаюсь.  
Только вы не глядите,  
как шало я мчусь,-  
это так, для фасону.  
Я знаю,  
    что плохо катаюсь.  
Но когда-нибудь  
я хорошо научусь.  
Я слезаю в пути  
у сторожки заброшенной,  
    ветхой.  
Я ломаю черемуху  
    в звоне лесном.  
и, к рулю привязав ее ивовой веткой,  
я лечу  
    и букет раздвигаю лицом.  
Возвращаюсь в Москву.  
Не устал еще вовсе.  
Зажигаю настольную,  
верхнюю лампу гашу.  
Ставлю в воду черемуху.  
Ставлю будильник на восемь,  
и сажусь я за стол,  
и вот эти стихи  
    я пишу...

1955

## **НЕ ИСЧЕЗАЙ**

Не исчезай... Исчезнув из меня,  
развоплотясь, ты из себя исчезнешь,  
себе самой навеки изменя,  
и это будет низшая нечестность.

Не исчезай... Исчезнуть — так легко.  
Воскреснуть друг для друга невозможно.  
Смерть втягивает слишком глубоко.  
Стать мертвым хоть на миг — неосторожно.

Не исчезай... Забудь про третью тень.

В любви есть только двое. Третьих нету.  
Чисты мы будем оба в Судный день,  
когда нас трубы призовут к ответу.

Не исчезай... Мы искупили грех.  
Мы оба неподсудны, невозбранны.  
Достойны мы с тобой прощенья тех,  
кому невольно причинили раны.

Не исчезай. Исчезнуть можно вмиг,  
но как нам после встретиться в столетьях?  
Возможен ли на свете твой двойник  
и мой двойник? Лишь только в наших детях.

Не исчезай. Дай мне свою ладонь.  
На ней написан я — я в это верю.  
Тем и страшна последняя любовь,  
что это не любовь, а страх потери.  
1977

## НЕ НАДО

Не надо...

    Всё призрачно -  
        и тёмных окон матовость,  
и алый снег за стоп-сигналами машин.

Не надо...

    Всё призрачно,  
        как сквер туманный мартовский,  
где нет ни женщин, ни мужчин -  
        лишь тени женщин и мужчин.

Не надо...

    Стою у дерева,  
        молчу и не обманываю,  
гляжу, как сдвоенные светят фонари,  
и тихо трогаю рукой,  
        но не обламываю  
сосульку тоненькую с веточкой внутри.

Не надо...

    Пусть в бултыхающемся заспанном трамвайшке  
с Москвой,  
        качающейся мертвенно в окне,  
ты,  
        подперев щеку рукою в детской варежке,

со злостью женской вспоминаешь обо мне.  
Не надо...

Ты станешь женщиной,  
усталой, умной женщиной,  
по слову доброму и ласке голодна,  
и будет март,  
и будет мальчик, что-то шепчущий,  
и будет горестно кружиться голова.

Не надо...

Пусть это стоит, как и мне, недёшево,  
с ним не ходи вдвоём по мартовскому льду,  
ему на плечи свои руки ненадёжные  
ты не клади,  
как я сегодня не кладу.

Не надо...

Не верь, как я не верю,  
призрачному городу,  
не то,

очнувшись, ужаснёшься пустырю.

Скажи: "Не надо!",

опустивши низко голову,  
как я тебе сейчас

"Не надо..."

говорю.

\* \* \*

*Н. Тарасову*

Не писал тебе я писем,  
но не выдержал — пишу.  
От тебя я стал зависим  
и свободы не прошу.

Меня сделали счастливым  
от негаданной любви  
твои серые с отливом,  
непонятные твои.

Может, этого не надо —  
что-то следует блюсти.  
Может, будешь ты не рада —  
так, пожалуйста, прости.

Но такое уж тут солнце,  
что с собой попробуй сладь!  
Но такие уж тут сосны,  
что в письме хочу послать.

...Я живу в Бакуриани.  
Сладко щурюсь после сна.  
Над горами, бугорками  
вышина и тишина.

«МАЗы» буйволов шугают.  
Пахнет дымом... День настал,  
и по улицам шагают  
горнолыжники на старт.

Полюбил я их привычки,  
блеск живых и добрых глаз,  
и ту дружбу, что превышает  
всех о дружбе громких фраз,

и отлив их щек цыганских,  
и шершавость смуглых рук,  
и ботинок великанских  
полнокровный, крупный стук.

Понимаю я их нервность —  
плохо в лыжном их дому.  
Понимаю я их нежность —  
нежность к делу своему,

грубоватую их жесткость,  
если кто-то не о том,  
и застенчивую женскость  
в чем-то очень дорогом.

Вот приходят они с трассы,  
в душ, усталые, идут,  
и себя, бывает, странно  
победители ведут.

Кто-то, хмурый, ходит грузно  
ногу парень повредил,  
ну и выигравший грустен —  
видно, слабо победил...

Это мне понятно, ибо  
часто, будто нездоров,  
я не выглядел счастливо  
после громких вечеров.

Кто-то, ласково подъехав,  
мне нашептывал слова,  
что еще одна победа...  
А победа-то — слаба!

...Ты прости — разговорился.  
Не могу не говорить  
так, как будто раскурился,  
только здесь нельзя курить.

Ты — мое, Бакуриани.  
Так случилось уж в судьбе.  
Мои грусть и гореванье  
растворяются в тебе.

Я люблю тебя за гордость,  
словно тайную жену,  
за твою высокогорность,  
вышину и тишину.

Спит динамовская база.  
Чем-то вечным дышит даль.  
Кто-то всхрапывает басом —  
снится, видимо, медаль.

Выхожу я за ворота.  
Я ловлю губами снег.  
Что же это за морока —  
спать не может человек!

Я на снег летящий дую,  
направление даю.  
Потихонечку колдую,  
дую в сторону твою.

Снег, наверно, полетел бы,  
да не может он лететь!  
На тебя я поглядел бы,  
да не следует глядеть!

Это вроде и обидно,  
только что в обиде быть!  
Мне не надо быть любимым  
мне достаточно любить.

И, любя тебя без краю,  
в этом крошечном краю  
я тебя благословляю  
и за все благодарю.  
1960

\* \* \*

Не понимать друг друга страшно -  
не понимать и обнимать,  
и все же, как это ни странно,  
но так же страшно, так же страшно  
во всем друг друга понимать.

Тем и другим себя мы раним.  
И, наделен познанием ранним,  
я душу нежную твою  
не оскорблю непониманием  
и пониманием не убью.  
1956

\* \* \*

Не понимаю,  
    что со мною случилось?  
Усталость, может,-  
    может, и усталость.  
Расстраиваюсь быстро  
    и грустнею,  
когда краснеть бы нечего -  
    краснею.  
А вот со мной недавно было в ГУМе,  
да, в ГУМе,  
    в мерном рокоте  
    и гуле.  
Там продавщица с завитками хилыми  
руками неумелыми и милыми

мне шею обернула сантиметром.  
Я раньше был несклонен к сантиментам,  
а тут гляжу,  
    и сердце болью сжалось,  
и жалость,  
    понимаете вы,  
        жалость  
к ее усталым чистеньким рукам,  
к халатику  
    и хилым завиткам.  
Вот книга...  
    Я прочесть ее решаю!  
Глава -  
    ну так,  
        обычная глава,  
а не могу прочесть ее -  
        мешают  
слезами заслоненные глаза.  
Я все с собой на свете перепутал.  
Таюсь,  
    боюсь искусства, как огня.  
Виденья Малапаги,  
    Пера Гюнта,-  
мне кажется,  
    все это про меня.  
А мне бубнят,  
    и нету с этим сладу,  
что я плохой,  
    что с жизнью связан слабо.  
Но если столько связано со мною,  
я что-то значу, видимо,  
    и стою?  
А если ничего собой не значу,  
то отчего же  
    мучаюсь и плачу?!

1956

\* \* \*

Не разглядывать в лупу  
эту мелочь и ту,  
как по летнему лугу,  
я по жизни иду.

Настежь -  
ворот рубашки,  
и в тревожных руках  
все недели -  
    ромашки  
о семи лепестках.

Ветер сушит мне губы.  
Я к ромашкам жесток.  
Замирающе:  
    "Любит!"-  
говорит лепесток.

Люди, слышите, люди,  
я счастливый какой!  
Но спокойно:  
    "Не любит",  
возражает другой.  
1953

## **НЕЖНОСТЬ**

Разве же можно,  
    чтоб все это длилось?  
Это какая-то несправедливость...  
Где и когда это сделалось модным:  
"Живым - равнодушие,  
    внимание - мертвым?"  
Люди сутулятся,  
    выпивают.  
Люди один за другим  
    выбывают,  
и произносятся  
    для истории  
нежные речи о них -  
    в крематории...  
Что Маяковского жизни лишило?  
Что револьвер ему в руки вложило?  
Ему бы -  
    при всем его голосе,  
    внешности -  
дать бы при жизни  
    хоть чуточку нежности.  
Люди живые -

они утруждают.  
Нежностью  
только за смерть награждают.  
1955

## НЕРАЗДЕЛЕННАЯ ЛЮБОВЬ

*И. Кваше*

Любовь неразделенная страшна,  
но тем, кому весь мир лишь биржа, драка,  
любовь неразделенная смешна,  
как профиль Сирано де Бержерака.  
Один мой деловитый соплеменник  
сказал жене в театре "Современник":  
"Ну что ты в Сирано своем нашла?  
Вот дурень! Я, к примеру, никогда бы  
так не страдал из-за какой-то бабы...  
Другую бы нашел - и все дела".  
В затравленных глазах его жены  
забито проглянуло что-то вдовье.  
Из мужа перло - аж трещали швы!  
смертельное духовное здоровье.  
О, сколько их, таких здоровяков,  
страдающих отсутствием страданий.  
Для них есть бабы: нет прекрасной дамы.  
А разве сам я в чем-то не таков?  
Зевая, мы играем, как в картишки,  
в засаленные, стертые страстишки,  
боясь трагедий, истинных страстей.  
Наверное, мы с вами просто трусы,  
когда мы подгоняем наши вкусы  
под то, что подступней, попростей.  
Не раз шептал мне внутренний подонок  
из грязных подсознательных потемок:  
"Э, братец, эта - сложный матерьял..."-  
и я трусливо ускользал в несложность  
и, может быть, великую возможность  
любви неразделенной потерял.  
Мужчина, разыгравший все умно,  
расчетом на взаимность обещен.  
О, рыцарство печальных Сирано,  
ты из мужчин переместилось в женщин.  
В любви вы либо рыцарь, либо вы

не любите. Закон есть непреклонный:  
в ком дара нет любви неразделенной,  
в том нету дара божьего любви.  
Дай бог познать страданий благодать,  
и трепет безответный, но прекрасный,  
и сладость безнадежного ожидать,  
и счастье глупой верности несчастной.  
И, тянущийся тайно к мятежу  
против своей души оледененной,  
в полулюбви запутавшись, брожу  
с тоскою о любви неразделенной.

## НЕТ ЛЕТ

*Светлане Харрис*

«Нет  
лет...» —  
вот что кузнечики стрекочут нам в ответ  
на наши страхи постаренья  
и пьют росу до иступленья,  
вися на стеблях на весу  
с алмазинками на носу,  
и каждый —  
крохотный зелененький поэт.

«Нет  
лет...» —  
вот что звенит,  
как будто пригоршня монет,  
в кармане космоса дырявом горсть планет,  
вот что гремят, не унывая,  
все недобитые трамваи,  
вот что ребячий прутик пишет на песке,  
вот что, как синяя пружиночка,  
чуть-чуть настукивает жилочка  
у засыпающей любимой на виске.

Нет  
лет.  
Мы все,  
впадая сдуру в стадность,  
себе придумываем старость,  
но что за жизнь,

когда она — самозапрет?  
Копни любого старика  
и в нем найдешь озорника,  
а женщины немолодые —  
все это девочки седые.  
Их седина чиста, как яблоневого цвет.

Нет  
лет.  
Есть только чудные и страшные мгновенья.  
Не надо нас делить на поколения.  
Всепоколенийность —  
вот гениев секрет.  
Уронен Пушкиным дуэльный пистолет,  
а дым из дула смерть не выдула  
и Пушкина не выдала,  
не разрешив ни умереть,  
ни постареть.

Нет  
лет.  
А как нам быть,  
негениальным,  
но все-таки многострадальным,  
чтобы из шкафа,  
неодет,  
с угрюмым грохотом обвальным,  
грозя оскалом тривиальным,  
не выпал собственный скелет?  
Любить.  
Быть вечным во мгновении.  
Все те, кто любят,—  
это гении.

Нет  
лет  
для всех Ромео и Джульетт.  
В любви полмига —  
полстолетия.  
Полюбите —  
не постареете —  
вот всех зелененьких кузнечиков совет.  
Есть  
весть,  
и не плохая, а благая,

что существует жизнь другая,  
но я смеюсь,  
    предполагая,  
что сотня жизней не в другой, а в этой есть  
и можно сотни раз отцвести  
и вновь расцвести.

Нет  
лет.  
Не сплю,  
    хотя давно погас в квартире свет  
и лишь поскрипывает дряхлый табурет:  
«Нет  
лет...  
нет  
лет...»

*18 июля 1992, станция Зима*

\* \* \*

Ничто не сходит с рук:  
ни самый малый крюк  
с дарованной дороги,  
ни бремя пустяков,  
ни дружба тех волков,  
которые двуноги.

Ничто не сходит с рук:  
ни ложный жест, ни звук  
ведь фальшь опасна эхом,  
ни жадность до деньги,  
ни хитрые шаги,  
чреватые успехом.

Ничто не сходит с рук:  
ни позабытый друг,  
с которым неудобно,  
ни кроха-муравей,  
подошвою твоей  
раздавленный беззлобно.

Таков проклятый круг:  
ничто не сходит с рук,  
а если даже сходит,

ничто не задарма,  
и человек с ума  
сам незаметно сходит...  
1972

\* \* \*

О, нашей молодости споры,  
о, эти взбалмошные сборы,  
о, эти наши вечера!  
О, наше комнатное пекло,  
на чайных блюдцах горки пепла,  
и сидра пузырьки, и пена,  
и баклажанная икра!

Здесь разговоров нет окольных.  
Здесь исполнитель арий сольных  
и скульптор в кедах баскетбольных  
кричат, махая колбасой.  
Высокомерно и судебно  
здесь разглагольствует студентка  
с тяжелокованной косой.

Здесь песни под рояль поются,  
и пол трещит, и блюда бьются,  
здесь безнаказанно смеются  
над платьем голых королей.  
Здесь столько мнений, столько прений  
и о путях России прежней,  
и о сегодняшней о ней.

Все дышит радостно и грозно.  
И расходиться уже поздно.  
Пусть это кажется игрой:  
не зря мы в спорах этих сипнем,  
не зря насмешками мы сыплем,  
не зря стаканы с бледным сидром  
стоят в соседстве с хлебом ситным  
и баклажанною икрой!  
1957

**ОГРАДА**

В. Луговскому<sup>1</sup>

Могила,  
ты ограблена оградой.  
Ограда, отделила ты его  
от грома грузовых,  
от груш,  
от града  
агатовых смородин.  
От всего,  
что в нем переливалось, мчалось, билось,  
как искры из-под бешеных копыт.  
Все это было буйный быт —  
не бытность.  
И битвы —  
это тоже было быт.  
Был хряск рессор  
и взрывы конских храпов,  
покой прудов  
и сталкиванье льдов,  
азарт базаров  
и сохранность храмов,  
прибой садов  
и груды городов.  
Подарок — делать созданный подарки,  
камнями и корнями покорен,  
он, словно странник, проходил по давке  
из-за кормов и крошечных корон.  
Он шел,  
другим оставив суетиться.  
Крепка была походка и легка  
серебряноголового артиста  
со смуглыми щеками моряка.  
Пушкинианец, вольно и велико  
он и у тяжких горестей в кольце  
был как большая детская улыбка  
у мученика века на лице.  
И знаю я — та тихая могила  
не пристань для печальных чьих-то лиц.  
Она навек неистово магнитна  
для мальчиков, цветов, семян и птиц.  
Могила,  
ты ограблена оградой,  
но видел я в осенней тишине:  
там две сосны растут, как сестры, рядом —

одна в ограде и другая вне.  
И непреоборимыми рывками,  
ограду обвиняя в воровстве,  
та, что в ограде, тянется руками  
к не огражденной от людей сестре.  
Не помешать ей никакою рубкой!  
Обрубят ветви —  
    отрастут опять.  
И кажется мне —  
    это его руки  
людей и сосны тянутся обнять.  
Всех тех, кто жил, как он, другим наградой,  
от горестей земных, земных отрад  
не отгородишь никакой оградой.  
На свете нет еще таких оград.  
1961

## ОДИНОЧЕСТВО

Как стыдно одному ходить в кинотеатры  
без друга, без подруги, без жены,  
где так сеансы все коротковаты  
и так их ожидания длинны!  
Как стыдно -  
    в нервной замкнутой войне  
с насмешливостью парочек в фойе  
жевать, краснея, в уголке пирожное,  
как будто что-то в этом есть порочное...  
Мы,  
    одиночества стесняясь,  
        от тоски  
бросаемся в какие-то компании,  
и дружб ничемных обязательства кабальные  
преследуют до гробовой доски.  
Компании нелепо образуются -  
в одних все пьют да пьют,  
        не образумятся.  
В других все заняты лишь тряпками и девками,  
а в третьих -  
    вроде спорами идейными,  
но приглядишься -  
    те же в них черты...  
Разнообразные формы суеты!  
То та,



Она молчала,  
и совсем сиротски  
две капельки прозрачных -  
    две сережки  
мерцали в мочках розовых у ней.  
И, как больная, глядя так невнятно  
И, поднявши тело детское свое,  
сказала глухо:  
    "Уходи...  
    Не надо...  
Я вижу -  
    ты не мой,  
    а ты - ее..."  
Меня любила девочка одна  
с повадками мальчишескими дикими,  
с летящей челкой  
    и глазами-льдинками,  
от страха  
    и от нежности бледна.  
В Крыму мы были.  
    Ночью шла гроза,  
и девочка  
    под молниєю магнийной  
шептала мне:  
"Мой маленький!  
    Мой маленький!" -  
ладонью закрывая мне глаза.  
Вокруг все было жутко  
    и торжественно,  
и гром,  
    и моря стон глухонемой,  
и вдруг она,  
    полна прозренья женского,  
мне закричала:  
    "Ты не мой!  
    Не мой!"  
Прощай, любимая!  
    Я твой  
    угрюмо,  
    верно,  
и одиночество -  
    всех верностей верней.  
Пусть на губах моих не тает вечно  
прощальный снег от варежки твоей.  
Спасибо женщинам,

прекрасным и неверным,  
за то,  
что это было все мгновенным,  
за то,  
что их "прощай!" -  
не "до свиданья!",  
за то,  
что, в лживости так царственно горды,  
даруют нам блаженные страдания  
и одиночества прекрасные плоды.  
1959

## ОЖИДАНИЕ

В прохладу волн загнав  
стада коров мычащих,  
сгибает стебли трав  
жара в застывших чашах.

Прогретая гора  
дымится пылью склонов.  
Коробится кора  
у накаленных кленов.

Изнемогли поля,  
овраги истомились,  
и солнцу тополя  
уже сдались на милость.

Но все-таки тверды,  
сильны и горделивы  
чего-то ждут сады,  
и ждут чего-то нивы.

Пусть влага с высоты  
еще не стала литься,  
но ждут ее сады,  
и ею бредят листья.

Пускай повсюду зной,  
и день томится в зное,  
но все живет грозой,  
и дышит все грозью.  
1951

\* \* \*

*Л. Мартынову<sup>1</sup>*

Окно выходит в белые деревья.  
Профессор долго смотрит на деревья.  
Он очень долго смотрит на деревья  
и очень долго мел крошит в руке.  
Ведь это просто -  
правила деленья!  
А он забыл их -  
                  правила деленья!  
Забыл -  
                  подумать -  
                          правила деленья!  
Ошибка!  
          Да!  
          Ошибка на доске!  
Мы все сидим сегодня по-другому,  
и слушаем и смотрим по-другому,  
да и нельзя сейчас не по-другому,  
и нам подсказка в этом не нужна.  
Ушла жена профессора из дому.  
Не знаем мы,  
                  куда ушла из дому,  
не знаем,  
                  отчего ушла из дому,  
а знаем только, что ушла она.  
В костюме и немодном и неновом,-  
как и всегда, немодном и неновом,-  
да, как всегда, немодном и неновом,-  
спускается профессор в гардероб.  
Он долго по карманам ищет номер:  
"Ну что такое?  
                  Где же этот номер?  
А может быть,  
                  не брал у вас я номер?  
Куда он делся? -  
                  Трет рукою лоб.-  
Ах, вот он!..  
                  Что ж,  
                          как видно, я старею,  
Не спорьте, тетя Маша,

я старею.  
И что уж тут поделаешь -  
    старею..."  
Мы слышим -  
    дверь внизу скрипит за ним.  
Окно выходит в белые деревья,  
в большие и красивые деревья,  
но мы сейчас глядим не на деревья,  
мы молча на профессора глядим.  
Уходит он,  
    сутулый,  
        неумелый,  
под снегом,  
    мягко падающим в тишь.  
Уже и сам он,  
    как деревья,  
        белый,  
да,  
как деревья,  
    совершенно белый,  
еще немного -  
    и настолько белый,  
что среди них  
    его не разглядишь.  
1955

## **ОЛЬХОВАЯ СЕРЕЖКА**

*Д. Батлер*

Уронит ли ветер  
    в ладони сережку ольховую,  
начнет ли кукушка  
    сквозь крик поездов куковать,  
задумаюсь вновь,  
    и, как нанятый, жизнь истолковываю  
и вновь прихожу  
    к невозможности истолковать.  
Себя низвести  
    до пылиночки в звездной туманности,  
конечно, старо,  
    но поддельных величий умней,  
и нет униженья  
    в осознанной собственной малости -

величие жизни  
    печально осознанно в ней.  
Сережка ольховая,  
    легкая, будто пуховая,  
но сдунешь ее -  
    все окажется в мире не так,  
а, видимо, жизнь  
    не такая уж вещь пустяковая,  
когда в ней ничто  
    не похоже на просто пустяк.  
Сережка ольховая  
    выше любого пророчества.  
Тот станет другим,  
    кто тихонько ее разломил.  
Пусть нам не дано  
    изменить все немедленно, как хочется,-  
когда изменяемся мы,  
    изменяется мир.  
И мы переходим  
    в какое-то новое качество  
и вдаль отплываем  
    к неведомой новой земле,  
и не замечаем,  
    что начали странно покачиваться  
на новой воде  
    и совсем на другом корабле.  
Когда возникает  
    беззвездное чувство отчужденности  
от тех берегов,  
    где рассветы с надеждой встречал,  
мой милый товарищ,  
    ей-богу, не надо отчаиваться -  
поверь в неизвестный,  
    пугающе черный причал.  
Не страшно вблизи  
    то, что часто пугает нас издали.  
Там тоже глаза, голоса,  
    огоньки сигарет.  
Немножко обвыкнешь,  
    и скрип этой призрачной пристани  
расскажет тебе,  
    что единственной пристани нет.  
Яснеет душа,  
    переменами незлобимая.  
Друзей, не понявших

и даже предавших,- прости.  
Прости и пойми,  
если даже разлюбит любимая,  
сережкой ольховой  
с ладони ее отпусти.  
И пристани новой не верь,  
если станет прилипчивой.  
Призвание твое -  
беспричальная дальняя даль.  
С шурупов сорвись,  
если станешь привычно привинченный,  
и снова отчаль  
и плыви по другую печаль.  
Пускай говорят:  
«Ну когда он и впрямь образумится!»  
А ты не волнуйся -  
всех сразу нельзя ублажить.  
Презренный резон:  
«Все уляжется, все образуется...»  
Когда образуется все -  
то и незачем жить.  
И необъяснимое -  
это совсем не бессмыслица.  
Все переоценки  
нимало смущать не должны,-  
ведь жизни цена  
не понизится  
и не повысится -  
она неизменна тому,  
чему нету цены.  
С чего это я?  
Да с того, что одна бестолковая  
кукушка-болтушка  
мне долгую жизнь ворожит.  
С чего это я?  
Да с того, что сережка ольховая  
лежит на ладони и,  
словно живая,  
дрожит...

1975

## **ПАМЯТИ ЕСЕНИНА**

Поэты русские,

друг друга мы браним —  
Парнас российский дрязгами засеян.  
но все мы чем-то связаны одним:  
любой из нас хоть чуточку Есенин.  
И я — Есенин,  
но совсем иной.  
В колхозе от рожденья конь мой розовый.  
Я, как Россия, более суров,  
и, как Россия, менее березовый.  
Есенин, милый,  
изменилась Русь!  
но сетовать, по-моему, напрасно,  
и говорить, что к лучшему, —  
боюсь,  
ну а сказать, что к худшему, —  
опасно...  
Какие стройки,  
спутники в стране!  
Но потеряли мы  
в пути неровном  
и двадцать миллионов на войне,  
и миллионы —  
на войне с народом.  
Забывать об этом,  
память отрубив?  
Но где топор, что память враз отрубит?  
Никто, как русские,  
так не спасал других,  
никто, как русские,  
так сам себя не губит.  
Но наш корабль плывет.  
Когда мелка вода,  
мы посуху вперед Россию тащим.  
Что сволочей хватает,  
не беда.  
Нет гениев —  
вот это очень тяжко.  
И жалко то, что нет еще тебя  
И твоего соперника — горлана.  
Я вам двоим, конечно, не судья,  
но все-таки ушли вы слишком рано.  
Когда румяный комсомольский вождь  
На нас,  
поэтов,  
кулаком грохочет

и хочет наши души мять, как воск,  
и вылепить свое подобье хочет,  
его слова, Есенин, не страшны,  
но тяжело быть от этого веселым,  
и мне не хочется,  
        поверь,  
        задрав штаны,  
бежать вослед за этим комсомолом.  
Порою горько мне, и больно это все,  
и силы нет сопротивляться вздору,  
и втягивает смерть под колесо,  
Как шарф втянул когда-то Айседору.  
Но — надо жить.  
        Ни водка,  
        ни петля,  
ни женщины —  
        все это не спасенье.  
Спасенье ты,  
        российская земля,  
спасенье —  
        твоя искренность, Есенин.  
И русская поэзия идет  
вперед сквозь подозренья и нападки  
и хваткою есенинской кладет  
Европу,  
        как Поддубный,  
        на лопатки.

1965

## **ПАРК**

Разговорились люди нынче.  
От разговоров этих чад.  
Вслух и кричат, но вслух и хнычат,  
и даже вслух порой молчат.

Мне надоели эти темы.  
Я бледен. Под глазами тени.  
От этих споров я в поту.  
Я лучше в парк гулять пойду.

Уже готов я лезть на стену.  
Боюсь явлений мозговых.  
Пусть лучше пригласит на сцену

меня румяный массовик.

Я разгадаю все шарады  
и, награжден двумя шарами,  
со сцены радостно сойду  
и выпущу шары в саду.

Потом я ролики надену  
и песню забурчу на тему,  
что хорошо поет Монтан,  
и возлюбуюсь на фонтан.

И, возжелавши легкой качки,  
лелея благостную лень,  
возьму я чешские "шпикачки"  
и кружку с пеной набекрень.

Но вот сидят два человека  
и спорят о проблемах века.

Один из них кричит о вреде  
открытой критики у нас,  
что, мол, враги кругом, что время  
неподходящее сейчас.

Другой - что это все убого,  
что ложь рождает только ложь  
и что, какая б ни была эпоха,  
неправдой к правде не придешь.

Я закурю опять, я встану,  
вновь удеру гулять к фонтану,  
наткнусь на разговор, другой...  
Нет,- в парк я больше ни ногой!

Всё мыслит: доктор медицины,  
что в лодке сетует жене,  
и женщина на мотоцикле,  
летя отвесно но стене.

На поплавках уютно-шатких,  
и аллеях, где лопочет сад,  
и на раскрашенных лошадаках -  
везде мыслители сидят.

Прогулки, вы порой фатальны!  
Задумчивые люди пьют,  
задумчиво шумят фонтаны,  
задумчиво по морде бьют.

Задумчивы девчонок челки,  
и ночь, задумавшись всерьез,  
перебирает, словно четки,  
вагоны чертовых колес...  
1955

\* \* \*

Паровозный гудок,  
журавлиные трубы,  
и зубов холодок  
сквозь раскрытые губы.

До свиданья, прости,  
отпусти, не неволь же!  
Разойдутся пути  
и не встретятся больше.

По дорогам весны  
поезда будут мчаться,  
и не руки, а сны  
будут ночью встречаться.

Опустевший вокзал  
над сумятицей судеб...  
Тот, кто горя не знал,  
о любви пусть не судит.  
1951

## **ПАРТИЗАНСКИЕ МОГИЛЫ**

*Б. Моргунову*

Итак,  
живу на станции Зима.  
Встаю до света —  
нравится мне это.  
В грузовике на россыпях зерна

куда-то еду,  
    вылезаю где-то,  
вхожу в тайгу,  
    разглядываю лето  
и удивляюсь,  
    как земля земна!  
Брусничники в траве тревожно тлеют,  
и ягоды шиповника алеют  
с мохнатинками рыжими внутри.  
Все говорит как будто:  
    «Будь мудрее  
и в то же время  
    слишком не мудри!»  
Отпущенный бессмысленной тщетой,  
я отдаюсь покою и порядку,  
торжественности вольной и святой  
и выхожу на тихую полянку,  
где обелиск белеет со звездой.  
Среди берез и зарослей малины  
вы спите,  
    партизанские могилы.  
Есть магия могил.  
    У их подножий,  
пусть и пришел ты, сгорбленный  
    под ношей,—  
вдруг делается грустно и легко  
и смотришь глубоко и далеко.  
Читаю имена:  
    Клевцова Настя,  
Петр Беломестных,  
    Кузьмичев Максим,—  
а надо всем  
    торжественная надпись:  
«Погибли смертью храбрых за марксизм».  
Задумываюсь я над этой надписью.  
Ее в году далеком девятнадцатом  
наивный грамотей с пыхтеньем вывел  
и в этом правду жизненную видел.  
Они, конечно, Маркса не читали  
и то, что есть на свете бог, считали,  
но шли сражаться  
    и буржуев били,  
и получилось,  
    что марксисты были...  
За мир погибнув новый, молодой,

лежат они,  
    сибирские крестьяне,  
с крестами на груди —  
    не под крестами,—  
под пролетарской красною звездой.  
И я стою с ботинками в росе,  
за этот час намного старше ставший  
и все зачеты по марксизму сдавший,  
и все-таки, наверное, не все...  
Прощайте,  
    партизанские могилы!  
Вы помогли мне всем, чем лишь могли вы.  
Прощайте!  
    Мне еще искать и мучиться.  
Мир ждет меня,  
    моей борьбы и мужества.  
Мир с пеньем птиц,  
    с шуршаньем веток мокрых,  
с торжественным бессмертием своим.  
Мир, где живые думают о мертвых  
и помогают мертвые живым.  
1957

## ПАРУСА

*Памяти [К. Чуковского](#)*

Вот лежит перед морем девочка.  
Рядом книга. На буквах песок.  
А страничка под пальцем не держится —  
трепыхается, как парусок.

Море сдержанно камни ворочает,  
их до берега не докатив.  
Я надеюсь, что книга хорошая —  
не какой-нибудь там детектив.

Я не вижу той книги названия —  
ее край сердоликом прижат,  
но ведь автор — мой брат по призванию  
и, быть может, умерший мой брат.

И когда умирают писатели —  
не торговцы словами с лотка,—

как ты чашу утрат ни подсахари,  
эта чаша не станет сладка.

Но испей эту чашу, готовую  
быть решающей чашей весов  
в том сраженьи за души, которые,  
может, только и ждут парусов.

Не люблю я красивых надрывностей.  
Причитать возле смерти не след.  
Но из множества несправедливостей  
наибольшая все-таки — смерть.

Я платочка к глазам не прикладываю,  
боль проглатываю свою,  
если снова с повязкой проклятою  
в карауле почетном стою.

С каждой смертью все меньше мы молоды,  
сколько горьких утрат наяву  
канцелярской булавкой приколото  
прямо к коже, а не к рукаву...

Наше дело, как парус, тоненько  
бьется, дышит и дарит свет,  
но ни [Яшина](#), ни Паустовского,  
ни [Михал Аркадьича](#) нет.

И — [Чуковский](#)... О, лучше бы издали  
поклониться, но рядом я встал.  
О, как вдруг на лице его выступило  
то, что был он немислимо стар.

Но он юно, изящно и весело  
фехтовал до конца своих дней,  
Айболит нашей русской словесности,  
с бармалействующими в ней.

Было легкое в нем, чуть богемное.  
Но достойнее быть озорным,  
даже легким, но добрым гением,  
чем заносчивым гением злым.

И у гроба Корнея Ивановича  
я увидел — вверху, над толпой

он с огромного фото невянуще  
улыбался над мертвым собой.

Сдвинув кепочку, как ему хочется,  
улыбался он миру всему,  
и всему благородному обществу,  
и немножко себе самому.

Будет столько меняться и рушиться,  
будут новые голоса,  
но словесность великая русская  
никогда не свернет паруса.

...Даже смерть от тебя отступается,  
если кто-то из добрых людей  
в добрый путь отплывает под парусом  
хоть какой-то странички твоей...

1969

## **ПАТРИАРШИЕ ПРУДЫ**

Туманны Патриаршие пруды.  
Мир их теней загадочен и ломок,  
и голубые отраженья лодок  
видны на темной зелени воды.  
Белеют лица в сквере по углам.  
Сопя, ползет машина поливная,  
смывая пыль с асфальта и давая  
возможность отражения огням.  
Скользит велосипед мой в полумгле.  
Уж скоро два, а мне еще не спится,  
и прилипают листья к мокрым спицам,  
и холодеют руки на руле.  
Вот этот дом, который так знаком!  
Мне смотрят в душу пристально и долго  
на белом полукружье номер дома  
и лампочка под синим козырьком.  
Я спрыгиваю тихо у ворот.  
Здесь женщина живет - теперь уж с мужем  
и дочкою, но что-то ее мучит  
и что-то спать ей ночью не дает.  
И видится ей то же, что и мне:  
вечерний лес, больших теней смещенье,  
и ландышей неверное свеченье,  
взошедших из расщелины на пне,

и дальнейшее страдание гармошек,  
и смех, и платье в беленький горошек,  
вновь смех и все другое, из чего  
у нас не получилось ничего...  
Она ко мне приходит иногда:  
"Я мимо шла. Я только на минуту",-  
но мне в глаза не смотрит почему-то  
от странного какого-то стыда.  
И исчезают вновь ее следы...

Вот эта повесть, ясная не очень.  
Она туманна, как осенней ночью  
туманны Патриаршие пруды.  
1957

\* \* \*

*В. Бокову<sup>1</sup>*

Пахнет засолами,  
пахнет молоком.  
Ягоды засохлые  
в сене молодом.

Я лежу,  
    чего-то жду  
каждою кровинкой,  
в темном небе  
    звезду  
шевелю травинкой.

Все забыл,  
    все забыл,  
будто напахался,-  
с кем дружил,  
    кого любил,  
над кем надсмехался.

В небе звездно и черно.  
Ночь хорошая.  
Я не знаю ничего,  
ничегошеньки.

Баловали меня,

а я -  
как небалованный,  
целовали меня,  
а я -  
как нецелованный.  
1956

## ПЕВИЦА

Маленький занавес поднят.  
В зале движение и шум.  
Ты выступаешь сегодня  
в кинотеатре "Форум".

Выглядишь раненой птицей,  
в перышках пули тая.  
Стать вестибюльной певицей -  
это Победа твоя?

Здесь фронтовые песни  
слушают невсерьез.  
Самое страшное, если  
даже не будет слез.

Хочешь растрогать? Не пробуй...  
Здесь кинопублика вся  
с пивом жует бутерброды,  
ждет, чтоб сеанс начался.

Публика не понимает  
что ты поешь, почему,  
и заодно принимает  
музыку и ветчину.

А на экране фраки,  
сытых красоток страна,  
будто победа - враки,  
или не наша она.

Эти трофейные фильмы  
свергшиеся, как с небес,  
так же смотрели умильно  
дяденьки из СС.

Нас не освободили.  
Преподнесли урок.  
В этой войне победили  
ноги Марики Рокк.  
1951

## ПИСЬМО В ПАРИЖ

Когда мы в Россию вернемся?  
*Г. Адамович*

Нас не спасает крест одиночеств.  
Дух несвободы непобедим.  
Георгий Викторович Адамович,  
а вы свободны,  
    когда один?  
Мы, двое русских,  
    о чем попало  
болтали с вами  
    в кафе «Куполь»,  
но в петербуржце  
    вдруг проступала  
боль крепостная,  
    такая боль...  
И, может, в этом  
    свобода наша,  
что мы в неволе,  
    как ни грусти,  
и нас не минет  
    любая чаша,  
пусть чаша с ядом  
    в руке Руси.  
Георгий Викторович Адамович,  
мы уродились в такой стране,  
где тягу к бегству не остановишь,  
но приползаем —  
    хотя б во сне.  
С ней не расстаться,  
    не развязаться.  
Будь она проклята,  
    по ней тоска  
вцепилась, будто репей рязанский,  
в сукно парижского пиджака.  
Нас раскидало,

как в море льдины,  
расколошматило,  
но не разбив.  
Культура русская  
всегда едина  
и лишь испытывается  
на разрыв.  
Хоть скройся в Мекку,  
хоть прыгни в Лету,  
в кишках — Россия.  
Не выдрать!  
Шиш!  
Невозвращения в Россию нету.  
Из сердца собственного не сбежишь.  
1965

## **ПО ПЕЧОРЕ**

За ухой, до слез перченной,  
сочиненной в котелке,  
спирт, разбавленный Печорой,  
пили мы на катерке.

Катерок плясал по волнам  
без гармошки трепака  
и о льды на самом полном  
обдирал себе бока.

И плясали мысли наши,  
как стаканы на столе,  
то о Даше, то о Маше,  
то о каше на земле.

Я был вроде и не пьяный,  
ничего не упустил.  
Как олень под снегом ягель,  
под словами суть искал.

Но в разброде гомонившем  
не добрался я до дна,  
ибо суть и говорившем  
не совсем была ясна.

Люди все куда-то плыли

по работе, по судьбе.  
Люди пили. Люди были  
неясны самим себе.

Оглядел я, вздрогнув, кубрик:  
понимает ли рыбак,  
тот, что мрачно пьет и курит,  
отчего он мрачен так?

Понимает ли завскладом,  
продовольственный колосс,  
что он спрашивает взглядом  
из-под слипшихся волос?

Понимает ли, сжимая  
локоть мой, товаровед,—  
что он выяснить желает?  
Понимает или нет?

Кулаком старпом грохочет.  
Шерсть дымится на груди.  
Ну, а что сказать он хочет —  
разбери его поди.

Все кричат: предсельсовета,  
из рыбкопа чей-то зам.  
Каждый требует ответа,  
а на что — не знает сам.

Ах ты, матушка — Россия,  
что ты делаешь со мной?  
То ли все вокруг смурные?  
То ли я один смурной!

Я — из кубрика на волю,  
но, суденышко креня,  
вопрошающие волны  
навалились на меня.

Вопрошали что-то искры  
из трубы у катерка,  
вопрошали ивы, избы,  
птицы, звери, облака.

Я прийти в себя пытался,

и под крики птичьих стай  
я по палубе метался,  
как по льдине горностаи.

А потом увидел ненца.  
Он, как будто на холме,  
восседал надменно, немо,  
словно вечность, на корме.

Тучи шли над ним, нависнув,  
ветер бил в лицо, свистя,  
ну, а он молчал недвижно —  
тундры мудрое дитя.

Я застыл, воображая —  
вот кто знает все про нас.  
Но взгляделся — вопрошали  
щелки узенькие глаз.

«Неужели,— как в тумане  
крикнул я сквозь рев и гик,—  
все себя не понимают,  
и тем более — других?»

Мои щеки повлажнели.  
Вихорь брызг меня шатал.  
«Неужели? Неужели?  
Неужели?» — я шептал.

«Может быть, я мыслю грубо?  
Может быть, я слеп и глух?  
Может, все не так уж глупо —  
просто сам я мал и глуп?»

Катерок то погружался,  
то взлетал, седым-седой.  
Грудью к тросам я прижался,  
наклонился над водой.

«Ты ответь мне, колдовская,  
голубая глубота,  
отчего во мне такая  
горевая глупота?»

Езжу, плаваю, летаю,

все куда-то тороплюсь,  
книжки умные читаю,  
а умней не становлюсь.

Может, поиски, метанья —  
не причина тосковать?  
Может, смысл существованья  
в том, чтоб смысл его искать?»

Ждал я, ждал я в криках чаек,  
но ревела у борта,  
ничего не отвечая,  
голубая глубота.  
1963

## ПО ЯГОДЫ

Три женщины и две девчонки куцых,  
да я...

Летел набитый сеном кузов  
среди полей шумящих широко.  
И, глядя на мелькание косилок,  
коней,  
    колосьев,  
        кепок  
            и косынок,  
мы доставали булки из корзинок  
и пили молодое молоко.  
Из-под колес взметались перепелки,  
трещали, оглушая перепонки.  
Мир трепыхался, зеленел, галдел.  
А я - я слушал, слушал и глядел.  
Мальчишки у ручья швыряли камни,  
и солнце распалившееся жгло.  
Но облака накапливали капли,  
ворочались, дышали тяжело.  
Все становилось мгlistей, молчаливей,  
уже в стога народ колхозный лез,  
и без оглядки мы влетели в ливень,  
и вместе с ним и с молниями - в лес!  
Весь кузов перестраивая с толком,  
мы разгребали сена вороха  
и укрывались...  
    Не укрывалась только

попутчица одна лет сорока.  
Она глядела целый день устало,  
молчала нелюдимо за едой  
и вдруг сейчас приподнялась и встала,  
и стала молодою-молодой.  
Она сняла с волос платочек белый,  
какой-то шалой лихости полна,  
и повела плечами и запела,  
веселая и мокрая она:  
"Густым лесом босоногая  
девчоночка идет.  
Мелку ягоду не трогает,  
крупну ягоду берет".  
Она стояла с гордой головою,  
и все вперед -  
        и сердце и глаза,  
а по лицу -  
        хлестанье мокрой хвои,  
и на ресницах -  
        слезы и гроза.  
"Чего ты там?  
        Простудишься, дурила..."  
ее тянула тетя, беребя.  
Но всю себя она дождю дарила,  
и дождь за это ей дарил себя.  
Откинув косы смуглою рукою,  
глядела вдаль,  
        как будто там,  
        вдали,  
поющая  
        увидела такое,  
что остальные видеть не могли.  
Казалось мне,  
        нет ничего на свете,  
лишь этот,  
        в мокром кузове полет,  
нет ничего -  
        лишь бьет навстречу ветер,  
и ливень льет,  
        и женщина поет...  
Мы ночевать устроились в амбаре.  
Амбар был низкий.  
        Душно пахло в нем  
овчиною, сушеными грибами,  
моченою брусникой и зерном.

Листом зеленым веники дышали.  
В скольжении лучей и темноты  
огромными летучими мышами  
под потолком чернели хомуты.  
Мне не спалось.

Едва белели лица,  
и женский шепот слышался во мгле.  
Я вслушался в него:

"Ах, Лиза, Лиза,  
ты и не знаешь, как живется мне!  
Ну, фикусы у нас, ну, печь-голландка,  
ну, цинковая крыша хороша,  
все вычищено,

выскоблено,  
гладко,  
есть дети, муж,  
но есть еще душа!  
А в ней какой-то холод, лютый холод...

Вот говорит мне мать:

"Чем плох твой Петр?  
Он бить не бьет,  
на сторону не ходит,  
конечно, пьет,  
а кто сейчас не пьет?"

Ах. Лиза!

Вот придет он пьяный ночью,  
рычит, неужто я ему навек,  
и грубо повернет  
и - молча, молча,  
как будто вовсе я не человек.  
Я раньше, помню, плакала бессонно,  
теперь уже умею засыпать.  
Какой я стала...

Все дают мне сорок,  
а мне ведь, Лиза,  
только тридцать пять!  
Как дальше буду?

Больше нету силы...  
Ах, если б у меня любимый был.  
Уж как бы я тогда за ним ходила,  
пускай бы бил, мне только бы любил!  
И выйти бы не думала из дому  
и в доме наводила красоту.  
Я ноги б ему вымыла, родному  
и после воду выпила бы ту..."

Да это ведь она сквозь дождь и ветер  
летела молодою-молодой,  
и я -

я ей завидовал,  
я верил  
раздольной незадумчивости той.  
Стих разговор.

Донесся скрип колодца -  
и плавно смолк.

Все улеглось в селе.  
и только сыто чавкали колеса  
по втулку в придорожном киселе...  
Нас разбудил мальчишка ранним утром  
в напаянном на майку пиджаке.  
Был нос его воинственно облуплен,  
и медный чайник он держал в руке.  
С презреньем взгляд скользнул по мне,  
по тете,

по всем дремавшим сладко на полу:  
"По ягоды-то, граждане, пойдете?  
Чего ж тогда вы спите?"

Не пойму..."

За стадом шла отставшая корова.  
Дрова босая женщина колола.  
Орал петух.

Мы вышли за село.  
Покосы от кузнечиков оглохли.  
Возов застывших высились оглобли,  
и было над землей сине-сине.  
Сначала шли поля,  
потом подлесок  
в холодном блеске утренних подвесок  
и птичьей хлопотливой суете.  
Уже и костяника нас манила,  
и дымчатая нежная малина  
в кустарнике алела кое-где.  
Тянула голубика лечь на хвою,  
брусничники подошвы так и жгли,  
но шли мы за клубникою лесною -  
за самой главной ягодой мы шли.

И вдруг передний кто-то крикнул с жаром:  
"Да вот она! А вот еще видна!.."

О, радость быть простым, берущим, жадным!  
О, первых ягод звон о дно ведра!  
Но поднимал нас предводитель юный,

и подчиняться были мы должны:  
"Эх, граждане, мне с вами просто юмор!  
До ягоды еще и не дошли..."  
И вдруг поляна лес густой пробила,  
вся в пьяном солнце, в ягодах, в цветах.  
У нас в глазах рябило.

    Это было,  
как выдохнуть растерянное "ах!"  
Клубника млела, запахом тревожа.  
Гремя посудой, мы бежали к ней,  
и падали,  
    и в ней, дурманной, лежа,  
ее губами брали со стеблей.  
Пушистою травой дымились взгорья,  
лес мошкаррой и соснами гудел.  
А я...

    Забыл про ягоды я вскоре.  
Я вновь на эту женщину глядел.  
В движеньях радость радостью сменялась.  
Платочек белый съехал до бровей.  
Она брала клубнику и смеялась,  
смеялась,  
    ну, а я не верил ей.  
Но помню я отныне и навеки,  
как сквозь тайгу летел наш грузовик,  
разбрызгивая грязь,  
    сшибая ветки,  
весь в белом блеске молний грозовых.  
И пела женщина,  
    и струйки,  
    струйки, пенясь,  
по скользкому стеклу стекали вкось...  
И я хочу,  
    чтобы и мне так пелось,  
как трудно бы мне в жизни ни жилось.  
Чтоб шел по свету  
    с гордой головою,  
чтоб все вперед -  
    и сердце, и глаза,  
а по лицу -  
    хлестанье мокрой хвои  
и на ресницах -  
    слезы и гроза.

1955

## ПОДРАНОК

*А. Вознесенскому<sup>1</sup>*

Сюда, к просторам вольным, северным,  
где крякал мир и нерестился,  
я прилетел, подранок, селезень,  
и на Печору опустился.

И я почуял всеми нервами,  
как из-за леса осиянно  
пахнуло льдинами и нерпами  
в меня величье океана.

Я океан вдохнул и выдохнул,  
как будто выдохнул печали,  
и все дробинки кровью вытолкнул,  
даря на память их Печоре.

Они пошли на дно холодное,  
а сам я, трепетный и легкий,  
поднялся вновь, крылами хлопая,  
с какой-то новой силой летною.

Меня ветра чуть-чуть покачивали,  
неся над мхами и кустами.  
Сопя, дорогу вдаль показывали  
ондатры мокрыми усами.

Через простор земель непаханных,  
цветы и заячьи орешки,  
меня несли на пантах бархатных  
веселоглазые олешки.

Когда на кочки я присаживался,—  
и тундра ягель подносила,  
и клюква, за зиму прослаженная,  
себя попробовать просила.

И я, затворами облязанный,  
вдруг понял — я чего-то стою,  
раз я такую был обласканный  
твоей, Печора, добротой!

Когда-нибудь опять, над Севером,

тобой не узанный, Печора,  
я пролечу могучим селезнем,  
сверкая перьями парчово.

И ты засмотришься нечаянно  
на тот полет и оперенье,  
забыв, что все это не чье-нибудь —  
твое, Печора, одаренье.

И ты не вспомнишь, как ты прятала  
меня весной, как обреченно  
то оперенье кровью плакало  
в твой голубой подол, Печора...  
1963

\* \* \*

Пора вставать... Ресниц не вскинуть сонных.  
Пора вставать... Будильник сам не свой.  
В окно глядит и сетует подсолнух,  
покачивая рыжей головой.

Ерошит ветер зябнущую зелень.  
Туманами покрыта вся река,  
как будто это на воду присели  
спустившиеся с неба облака.

И пусть кругом еще ночная тишь,  
заря с отливом розовым, нездешним  
скользит по непроснувшимся скворешням,  
по кромкам свежевыкрашенных крыш.

Пора, пора вглодаться и вглядеться  
в заждавшуюся жизнь. Все ждет с утра.  
Пора вставать... С тобой рассталось детство.  
Пора вставать... Быть молодым пора...  
1950

## **ПОСЛЕДНИЙ МАМОНТ**

Ступал он трудно по отрогу  
над ледовитою рекой.  
Их было раньше,

гордых,  
много,  
и был последний он такой.  
Не раз испробованный в буре,  
сегодня сдал он, как назло.  
Ему от стрел,  
торчащих в шкуре,  
внезапно стало тяжело.  
Он затрубить пытался слабо,  
чтоб эхо вздрогнуло вдали,  
но повалился с хрипом набок,  
и стрелы  
глубже  
в бок вошли.  
Уже над шкурой кто-то трясся,  
и, занимаясь дележом,  
умело кто-то резал мясо  
тяжелым каменным ножом.  
О, знали б люди эти если,  
что мамонт,  
грозен и суров,  
потомкам будет интересней  
всех исполнительных слонов  
и что испытанные в битве,  
когда он мчался напролом,  
еще не сдавшиеся бивни  
храниться будут под стеклом!..  
1956

## **ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА**

Моей жене Маше, подарившей  
мне с той поры, как было написано  
стихотворение, двух сыновей -  
Женю и Митю.

Е. Е. 1993

Последняя попытка стать счастливым,  
припав ко всем изгибам, всем извивам  
лепечущей дрожащей белизны  
и к ягодам с дурманом бузины.

Последняя попытка стать счастливым,  
как будто призрак мой перед обрывом

и хочет прыгнуть ото всех обид  
туда, где я давным-давно разбит.

Там на мои поломанные кости  
присела, отдыхая, стрекоза,  
и муравьи спокойно ходят в гости  
в мои пустые бывшие глаза.

Я стал душой. Я выскользнул из тела,  
я выбрался из крошева костей,  
но в призраках мне быть осточертело,  
и снова тянет в столько пропастей.

Влюбленный призрак пострашнее трупа,  
а ты не испугалась, поняла,  
и мы, как в пропасть, прыгнули друг в друга,  
но, распростерши белые крыла,  
нас пропасть на тумане подняла.

И мы лежим с тобой не на постели,  
а на тумане, нас держащем еле.  
Я - призрак. Я уже не разобьюсь.  
Но ты - живая. За тебя боюсь.

Вновь кружит ворон с траурным отливом  
и ждет свежинки - как на поле битв.  
Последняя попытка стать счастливым,  
последняя попытка полюбить.  
*1986, Петрозаводск*

## **ПОТЕРЯ**

Потеряла Россия  
в России  
Россию.

Она ищет себя,  
как иголку в стогу,  
как слепая старуха,  
бессмысленно руки раскинув,  
с причитаньями ищет  
буренку свою на лугу.

Мы сжигали иконы свои.

Мы не верили собственным книгам.  
Мы умели сражаться лишь с пришлой бедой.

Неужели не выжили мы  
лишь под собственным игом,  
сами став для себя  
хуже, чем чужеземной ордой?  
Неужели нам жить суждено  
то в маниловском, молью побитом халате,  
то в тулупчике заячьем драном  
с плеча Пугача?  
Неужели припадочность —  
это и есть наш характер,  
то припадки гордыни,  
то самооплева —  
и все сгоряча?  
Медный бунт, соляной и картофельный —  
это как сон безопасный.  
Бунт сплошной —  
вот что Кремль сотрясает сегодня,  
как будто прибор.  
Неужели единственный русский наш  
выбор злосчастный —  
это или опричнина  
или разбой?  
Самозванство сплошное.  
Сплошные вокруг атаманы.  
Мы запутались,  
чьи имена и знамена несем,  
и такие туманы в башках на Руси,  
растуманы,  
что неправы все сразу,  
и все виноваты во всем.  
Мы в туманах таких  
по колено в крови набродились.  
Хватит, Боже, наказывать нас.  
Ты нас лучше прости,  
пожалей.  
Неужели мы вымерли?  
Или еще не родились?  
Мы рождаемся снова,  
а снова рождаться — еще тяжелей.  
*13 марта 1991*

**ПОЭТ (ПРЕДОЩУЩЕНИЕ СТИХА...)**

*В. Корнилову*

Предощущение стиха  
у настоящего поэта  
есть ощущение греха,  
что совершен когда-то, где-то.

Пусть совершен тот грех не им —  
себя считает он повинным,  
настолько с племенем земным  
он сросся чувством пуповины.

И он по свету, сам не свой,  
бежит от славы и восторга  
всегда с повинной головой,  
но только — поднятой высоко.

Потери мира и войны,  
любая сломанная ветка  
в нем вырастают до вины,  
его вины — не просто века.

И жизнь своя ему страшна.  
Она грешным-грешна подавно.  
Любая женщина — вина,  
дар без возможности отдарка.

Поэтом вечно движет стыд,  
его кидая в необъятность,  
и он костями мосты мостит,  
оплачивая неоплатность.

А там, а там, в конце пути,  
который есть, куда ни деться,  
он скажет: «Господи, прости...» —  
на это даже не надеясь.

И дух от плоти отойдет,  
и — в пекло, раем не прельщенный,  
прощенный господом, да вот  
самим собою не прощенный...  
1965

\* \* \*

При каждом деле есть случайный мальчик.  
Таким судьба таланта не дала,  
и к ним с крутой неласковостью мачех  
относятся любимые дела.

Они переживают это остро,  
годами бьются за свои права,  
но, как и прежде, выглядят невзросло  
предательски румяные слова.

У них за все усердная тревога.  
Они живут, сомнений не тая,  
и, пасынки, они молчать не могут,  
когда молчат о чем-то сыновья.

Им чужды те, кто лишь покою рады,  
кто от себя же убежать не прочь.  
Они всей кожей чувствуют, что надо,  
но не умеют этому помочь.

Когда порою, без толку стараясь,  
все дело бесталанностью губя,  
идет на бой за правду бесталанность,  
талантливость, мне стыдно за тебя.  
1954

\* \* \*

Пришли иные времена.  
Взошли иные имена.

Они толкаются, бегут.  
Они врагов себе пекут,  
приносят неудобства  
и вызывают злобства.

Ну, а зато они — «вожди»,  
и их девчонки ждут в дожди  
и, вглядываясь в сумрак,  
украдкой брови слюнят.

А где же, где твои враги?  
Хоть их опять искать беги.  
Да вот они — радушно

кивают равнодушно.

А где твои девчонки, где?  
Для их здоровья на дожде  
опасно, не иначе —  
им надо внуков нянчить.

Украла всех твоих врагов.  
Украла легкий стук шагов.  
Украла чей-то шепот.  
Остался только опыт.

Но что же ты загоревал?  
Скажи — ты сам не воровал,  
не заводя учета,  
все это у кого-то?

Любая юность — воровство.  
И в этом — жизни волшебство:  
ничто в ней не уходит,  
а просто переходит.

Ты не завидуй. Будь мудрей.  
Воров счастливых пожалей.  
Ведь как ни озоруют,  
их тоже обворуют.

Придут иные времена.  
Взойдут иные имена.  
1963

## **ПРОЛОГ (Я РАЗНЫЙ...)**

Я разный -  
    я натруженный и праздный.  
Я целе-  
    и нецелесообразный.  
Я весь несовместимый,  
    неудобный,  
застенчивый и наглый,  
    злой и добрый.  
Я так люблю,  
    чтоб все перемежалось!  
И столько всякого во мне перемешалось

от запада  
и до востока,  
от зависти  
и до восторга!  
Я знаю - вы мне скажете:  
"Где цельность?"  
О, в этом всем огромная есть ценность!  
Я вам необходим.  
Я доверху завален,  
как сено молодым  
машина грузовая.  
Лечу сквозь голоса,  
сквозь ветки, свет и щебет,  
и -  
бабочки  
в глаза,  
и -  
сено  
прет  
сквозь щели!  
Да здравствуют движение и жаркость,  
и жадность,  
торжествующая жадность!  
Границы мне мешают...  
Мне неловко  
не знать Буэнос-Айреса,  
Нью-Йорка.  
Хочу шататься, сколько надо, Лондоном,  
со всеми говорить -  
пускай на ломаном.  
Мальчишкой,  
на автобусе повисшим,  
Хочу проехать утренним Парижем!  
Хочу искусства разного,  
как я!  
Пусть мне искусство не дает житья  
и обступает пусть со всех сторон...  
Да я и так искусством осажден.  
Я в самом разном сам собой увиден.  
Мне близки  
и Есенин,  
и Уитмен,  
и Мусоргским охваченная сцена,  
и девственные линии Гогена.  
Мне нравится

и на коньках кататься,  
и, черкая пером,  
    не спать ночей.  
Мне нравится  
    в лицо врагу смеяться  
и женщину нести через ручей.  
Вгрызаюсь в книги  
    и дрова таскаю,  
грущу,  
    чего-то смутного ищу,  
и алыми морозными кусками  
арбуза августовского хрущу.  
Пою и пью,  
    не думая о смерти,  
раскинув руки,  
    падаю в траву,  
и если я умру  
    на белом свете,  
то я умру от счастья,  
    что живу.

1955

\* \* \*

Проснуться было, как присниться,  
присниться самому себе  
под вспыхивающие зарницы  
в поскрипывающей избе.

Припомнить - время за грибами,  
тебя поднять, растереби,  
твои глаза открыть губами  
и вновь увидеть в них себя.

Для объяснений слов подсобных  
совсем не надо было нам,  
когда делили мы подсолнух,  
его ломая пополам.

И сложных не было вопросов,  
когда вбегали внутрь зари  
в праматерь - воду, где у плесов  
щекочут ноги пескари.

А страх чего-то безотчетно  
нас леденил по временам.  
Уже вокруг ходило что-то,  
уже примеривалось к нам.

Но как ресницами - в ресницы,  
и с наготою - нагота,  
себе самим опять присниться  
и не проснуться никогда?

## **ПРОЦЕССИЯ С МАДОННОЙ**

*Людовико Коррао*

В городишке тихом Таормина  
стройно шла процессия с мадонной.  
Дым от свеч всходил и таял мирно,  
невесомый, словно тайна мига.

Впереди шли девочки — все в белом,  
и держали свечи крепко-крепко.  
Шли они с восторгом оробелым,  
полные собой и миром целым.

И глядели девочки на свечи,  
и в неверном пламени дрожащем  
видели загадочные встречи,  
слышали заманчивые речи.

Девочкам надеяться пристало.  
Время обмануться не настало,  
но как будто их судьба, за ними  
позади шли женщины устало.

Позади шли женщины — все в черном,  
и держали свечи тоже крепко.  
Шли тяжелым шагом удрученным,  
полные обманом уличенным.

И глядели женщины на свечи  
и в неверном пламени дрожащем  
видели детей худые плечи,  
слышали мужей тупые речи.

Шли все вместе, улицы минуя,  
матерью мадонну именуя,  
и несли мадонну на носилках,  
будто бы стоячую больную.

И мадонна, видимо, болела  
равно и за девочек и женщин,  
но мадонна, видимо, велела,  
чтобы был такой порядок вечен.

Я смотрел, идя с мадонной рядом,  
ни светло, ни горестно на свечи,  
а каким-то двуединым взглядом,  
полным и надеждою, и ядом.

Так вот и живу — необрученным  
и уже навеки обреченным  
где-то между девочками в белом  
и седыми женщинами в черном.  
1965

\* \* \*

Рассматривайте временность гуманно.  
На все невечное бросать не надо тень.  
Есть временность недельного обмана  
потемкинских поспешных деревень.  
Но ставят и времянки-общезитья,  
пока домов не выстроят других...  
Вы после тихой смерти их скажите  
спасибо честной временности их.  
1956

## **РЕВЮ СТАРИКОВ**

В том барселонском знаменитом кабаре  
встал дыбом зал, как будто шерсть на кабане,  
и на эстраде два луча, как два клыка,  
всадил с усмешкой осветитель в старика.

Весь наарумяненный, едва стоит старик,  
и черным коршуном на лысине парик.

Хрипит он, дедушка, затянутый в корсет:  
«Мы — труппа трупов — начинаем наш концерт!»

А зал хохочет, оценив словесный трюк,  
поскольку очень уж смешное слово — «труп»,  
когда сидишь и пьешь, вполне здоров и жив,  
девчонке руки на колено положив.

Конферансье, по-мефистофельски носат,  
нам представляет человеческий зоосад:  
«Объявляю первый номер!  
Тот певец, который помер  
двадцать пять, пожалуй, лет назад...»

И вот выходит хилый дедушка другой,  
убого шаркнув своей немощной ногой  
и челюсть юную неверную моля,  
чтобы не выпала она на ноте «ля».

Старик, фальшивя, тянет старое танго,  
а зал всю ему гогочет: «Иго-го!»  
Старик пускает, надрываясь, петуха,  
а зал в ответ ему пускает: «Ха-ха-ха!»

Опять хрипит конферансье, едва живой:  
«Наш танцевальный номер — номер огневой!  
Ножки — персики в сиропе!  
Ножки — лучшие в Европе,  
но, не скрою,— лишь до первой мировой!»

И вот идет со штукатуркой на щеках  
прабабка в сетчатых и гривеньких чулках.  
На красных туфлях в лживых блестках мишуры  
я вижу старческие тяжкие бугры.

А зал защелкнулся, как будто бы капкан.  
А зал зашелся от слюны: «Канкан! Канкан!»  
Юнец прыщавый и зеленый, как шпинат,  
ей лихорадочно шипит: «Шпагат! Шпагат!»

Вот в гранд-батман идет со скрежетом нога,  
а зал скабрезным диким стадом: «Га-га-га...»  
Я от стыда не поднимаю головы,  
ну а вокруг меня сплошное: «Гы-гы-гы...»

О, кто ты, зал? Какой такой жестокий зверь?  
Ведь невозможно быть еще подлей и злей.  
Вы, стариков любовью грустной полюбя,  
их пожалейте, словно будущих себя.

Эх вы, орущие соплюшки, сопляки,  
ведь вы — грядущие старушки, старики,  
и вас когда-нибудь грядущий юный гад  
еще заставит делать, милые, шпагат.

А я бреду по Барселоне, как чумной.  
И призрак старости моей идет за мной.  
Мы с ним пока еще идем отдельно, но  
где, на каком углу сольемся мы в одно?

Да, я жалею стариков. Я ретроград.  
Хватаю за руки прохожих у оград:  
«Объявляю новый номер!  
Я поэт, который помер,  
но не помню, сколько лет назад...»  
*1967, Барселона — Москва*

## **СВАДЬБЫ**

*А. Межирову<sup>1</sup>*

О, свадьбы в дни военные!  
Обманчивый уют,  
слова неоткровенные  
о том, что не убьют...  
Дорогой зимней, снежную,  
сквозь ветер, бьющий зло,  
лечу на свадьбу спешную  
в соседнее село.  
Походочкой расслабленной,  
с челочкой на лбу  
вхожу,  
    плясун прославленный,  
в гудящую избу.  
Наряженный,  
    взволнованный,  
среди друзей,  
    родных,  
сидит мобилизованный

растерянный жених.  
Сидит  
    с невестой - Верою.  
А через пару дней  
шинель наденет серую,  
на фронт поедет в ней.  
Землей чужой,  
    не местною,  
с винтовкою пойдет,  
под пулю немецкою,  
быть может, упадет.  
В стакане брага пенная,  
но пить ее невмочь.  
Быть может, ночь их первая -  
последняя их ночь.  
Глядит он опечаленно  
и - болью всей души  
мне через стол отчаянно:  
"А ну давай, пляши!"  
Забыли все о выпитом,  
все смотрят на меня,  
и вот иду я с вывертом,  
подковками звеня.  
То выдам дробь,  
    то по полу  
носки проволоку.  
Свищу,  
    в ладоши хлопаю,  
взлетаю к потолку.  
Летят по стенкам лозунги,  
что Гитлеру капут,  
а у невесты  
    слезыньки  
горючие  
    текут.  
Уже я измочаленный,  
уже едва дышу...  
"Пляши!.." -  
    кричат отчаянно,  
и я опять пляшу...  
Ступни как деревянные,  
когда вернусь домой,  
но с новой свадьбы  
пьяные  
    являются за мной.

Едва отпущен матерью,  
на свадьбы вновь гляжу  
и вновь у самой скатерти  
вприсядочку хожу.

Невесте горько плачется,  
стоят в слезах друзья.

Мне страшно.

Мне не пляшется,  
но не плясать -  
нельзя.

1955

\* \* \*

Сквер величаво листья осыпал.  
Светало. Было холодно и трезво.  
У двери с черной вывескою треста,  
нахохлившись, на стуле сторож спал.  
Шла, распушивши белые усы,  
пузатая машина поливная.  
Я вышел, смутно мир воспринимаю,  
и, воротник устало поднимая,  
рукою вспомнил, что забыл часы.  
Я был расслаблен, зол и одинок.  
Пришлось вернуться все-таки. Я помню,  
как женщина в халатике японском  
открыла дверь на первый мой звонок.  
Чуть удивилась, но не растерялась:  
«А, ты вернулся?» В ней во всей была  
насмешливая умная усталость,  
которая не грела и не жгла.  
«Решил остаться? Измененье правил?  
Начало новой светлой полосы?»  
«Я на минуту. Я часы оставил».  
«Ах да, часы, конечно же, часы...»  
На стуле у тахты коробка грима,  
тетрадка с новой ролью, томик Грина,  
румяный целлулоидный голыш.  
«Вот и часы. Дай я сама надену...»  
И голосом, скрывающим надежду,  
а вместе с тем и боль: «Ты позвонишь?»  
...Я шел устало дремлющей Неглинной.  
Все было сонно: дворников зевки,  
арбузы в деревянной клетке длинной,

на шкафчиках чистильщиков — замки.  
Все выглядело странно и туманно —  
и сквер с оградой низкою, витой,  
и тряпками обмотанные краны  
тележек с газированной водой.  
Свободные таксисты, зубоскаля,  
кружком стояли. Кто-то, в доску пьян,  
стучался в ресторан «Узбекистан»,  
куда его, конечно, не пускали...  
Бродили кошки чуткие у стен.  
Я шел и шел... Вдруг чей-то резкий окрик:  
«Нет закурить?» — и смутный бледный облик:  
и странный и знакомый вместе с тем.  
Пошли мы рядом. Было по пути.  
Курить — я видел — не умел он вовсе.  
Лет двадцать пять, а может, двадцать восемь,  
но все-таки не больше тридцати.  
И понимал я с грустью нелюдимой,  
которой был я с ним соединен,  
что тоже он идет не от любимой  
и этим тоже мучается он.  
И тех же самых мыслей столкновенья,  
и ту же боль и трепет становленья,  
как в собственном жестоком дневнике,  
я видел в этом странном двойнике.  
И у меня на лбу такие складки,  
жестокие, за все со мной сочлись,  
и у меня в душе в неравной схватке  
немолодость и молодость сошлись.  
Все резче эта схватка проступает.  
За пядью отвоевывая пядь,  
немолодость угрюмо наступает  
и молодость не хочет отступать.  
1957

## **СМЕЯЛИСЬ ЛЮДИ ЗА СТЕНОЙ**

*Е. Ласкиной*

Смеялись люди за стеной,  
а я глядел на эту стену  
с душой, как с девочкой больной  
в руках, пустевших постепенно.

Смеялись люди за стеной.  
Они как будто издевались.  
Они смеялись надо мной,  
и как бессовестно смеялись!

На самом деле там, в гостях,  
улав кружиться по паркету,  
они смеялись просто так,—  
не надо мной и не над кем-то.

Смеялись люди за стеной,  
себя вином подогревали,  
и обо мне с моей больной,  
смеясь, и не подозревали.

Смеялись люди... Сколько раз  
я тоже, тоже так смеялся,  
а за стеною кто-то гас  
и с этим горестно смирялся!

И думал он, бедой гоним  
и ей почти уже сдаваясь,  
что это я смеюсь над ним  
и, может, даже издеваюсь.

Да, так устроен шар земной,  
и так устроен будет вечно:  
рыдает кто-то за стеной,  
когда смеемся мы беспечно.

Но так устроен мир земной  
и тем вовек неувядаем:  
смеется кто-то за стеной,  
когда мы чуть ли не рыдаем.

И не прими на душу грех,  
когда ты мрачный и разбитый,  
там, за стеною, чей-то смех  
сочесть завистливо обидой.

Как равновесье — бытие.  
В нем зависть — самооскорбленье.  
Ведь за несчастье твое  
чужое счастье — искупленье.

Желай, чтоб в час последний твой,  
когда замрут глаза, смыкаясь,  
смеялись люди за стеной,  
смеялись, все-таки смеялись!

1963

\* \* \*

*Б. Ахмадулиной<sup>1</sup>*

Со мною вот что происходит:  
ко мне мой старый друг не ходит,  
а ходят в мелкой суете  
разнообразные не те.

И он

не с теми ходит где-то  
и тоже понимает это,  
и наш раздор необъясним,  
и оба мучимся мы с ним.

Со мною вот что происходит:  
совсем не та ко мне приходит,  
мне руки на плечи кладёт  
и у другой меня крадёт.

А той -

скажите, бога ради,  
кому на плечи руки класть?

Та,

у которой я украден,  
в отместку тоже станет красть.

Не сразу этим же ответит,  
а будет жить с собой в борьбе

и неосознанно наметит  
кого-то дальнего себе.

О, сколько

нервных

и недужных,

ненужных связей,

дружб ненужных!

Куда от этого я денусь?!

О, кто-нибудь,

приди,

нарушь

чужих людей соединённость

и разобщённость

близких душ!

1957

## СПУТНИЦА

В большом платке,  
    повязанном наспех  
поверх смешной шапчонки с помпонами,  
она сидела на жесткой насыпи,  
с глазами,  
    слез отчаянных полными.  
Снижались на рельсы изредка бабочки.  
Был шлак под ногами лилов и порист.  
Она,  
    как и я,  
    отстала от бабушки,  
когда бомбили немцы наш поезд.  
Ее звали Катей.  
    Ей было девять,  
и я не знал, что с нею мне делать.  
Но все сомненья я вскоре отверг -  
придется взять под опеку.  
Девчонка,  
    а все-таки человек.  
Нельзя же бросать человека.  
Тяжелым гуденьем  
    с разрывами слившись,  
опять бомбовозы летели вдали.  
Я тронул девчонку за локоть:  
    "Слышишь?  
Чего расселась?  
    Пошли".  
Земля была большая,  
    а мы были маленькие.  
Трудными были по ней шаги.  
На Кате -  
    с галошами жаркие валенки.  
На мне -  
    здоровенные сапоги.  
Лесами шли,  
    пробирались вброд.  
Каждая моя нога  
прежде, чем сделать шаг вперед,  
делала шаг

внутри сапога.  
Я был уверен -  
    девчонка нежна,  
ахи,  
    охи,  
    кис-кис.  
И думал -  
    сразу скиснет она,  
а вышло,  
    что сам скис.  
Буркнул:  
    "Дальше я не пойду".  
На землю сел у межи.  
А она:  
    "Да что ты?  
    Брось ерунду.  
Травы в сапоги подложи.  
Кушать хочешь?  
    Что же молчишь ты?  
Держи консервы.  
    Крабовые.  
Давай подкрепимся.  
    Эх, мальчишки,  
все вы - лишь с виду храбрые!"  
А вскоре с ней  
    по колючей стерне  
опять я шагал,  
    не горбясь.  
Заговорило что-то во мне -  
наверно, мужская гордость.  
Собрался с духом.  
    Держался, как мог.  
Боясь обидные слышать слова,  
насвистывал даже.  
    Из драных сапог  
зелеными клочьями лезла трава.  
Мы шли и шли,  
    забывая про отдых,  
мимо воронок,  
    пожарищ мимо.  
Шаталось небо сорок первого года,-  
его подпирали  
    столбы дыма.

1954

\* \* \*

Среди любовью слывшего  
сплетенья рук и бед  
ты от меня не слышала,  
любима или нет.  
Не спрашивай об истине.  
Пусть буду я в долгу -  
я не могу быть искренним,  
и лгать я не могу.  
Но не гляди тоскующе  
и верь своей звезде -  
хорошую такую же  
я не встречал нигде.  
Всё так,  
но силы мало ведь,  
чтоб жить,  
взахлёб любя,  
ну, а тебя обманывать -  
обманывать себя;  
и заменять в наивности  
вовек не научусь  
я чувства без взаимности  
взаимностью без чувств...  
Хочу я память вытеснить  
и думать о своём,  
но всё же тянет видеться  
и быть с тобой вдвоём.  
Когда всё это кончится?!  
Я мучаюсь опять -  
и брать любовь не хочется,  
и страшно потерять.

## **СТАРЫЙ ДРУГ**

Мне снится старый друг,  
который стал врагом,  
но снится не врагом,  
а тем же самым другом.  
Со мною нет его,  
но он теперь кругом,  
и голова идет  
от сновидений кругом.

Мне снится старый друг,  
крик-исповедь у стен  
на лестнице такой,  
где черт сломает ногу,  
и ненависть его,  
но не ко мне, а к тем,  
кто были нам враги  
и будут, слава Богу.  
Мне снится старый друг,  
как первая любовь,  
которая вовек  
уже невозвратима.  
Мы ставили на риск,  
мы ставили на бой,  
и мы теперь враги —  
два бывших побратима.  
Мне снится старый друг,  
как снится плеск знамен  
солдатам, что войну  
закончили убого.  
Я без него — не я,  
он без меня — не он,  
и если мы враги,  
уже не та эпоха.  
Мне снится старый друг.  
Он, как и я, дурак.  
Кто прав, кто виноват,  
я выяснять не стану.  
Что новые друзья?  
Уж лучше старый враг.  
Враг может новым быть,  
а друг — он только старый...

1973

## **ТВОЯ ДУША**

Неотразимая,  
ты зимним зимняя!

Ты завораживаешь,  
как замораживаешь!

Душа нальделая  
все ледяней.

Что ты наделала  
с душой своей!

Быть ледяною  
ее заставила  
и, словно комнату,  
ее устала

вещами,  
может быть и хорошими,  
но замораживающими,  
холодными...

Там воздух не колышется.  
Цветов  
там  
нет.

Как лёд коричневый,  
блестит паркет.  
Где-то гомон уличный,  
дневной жары накал.  
Здесь —  
лед рояля угольный  
и ртутный лед зеркал.  
Здесь не бывает солнечно.  
Здесь лампы свет чуть льют.  
Свисают  
сонные  
сосульки люстр.

А я хочу быть в гомоне  
среди людей.  
Мне страшно в комнате  
души твоей.

Душа усталая,—  
себе постылая,  
и вся уставленная,  
и вся пустынная...  
1956

\* \* \*

Тревожьтесь обо мне  
пристрастно и глубоко.  
Не стойте в стороне,  
когда мне одиноко.  
В усердии пустом  
на мелком не ловите.  
За все мое «потом»  
мое «сейчас» любите.  
Когда я в чем спешу,  
прошу вас —  
        не серчайте,  
а если вам пишу,  
на письма отвечайте.  
Твердите, что «пора!»  
всегдашним братским взглядом.  
Желайте мне добра  
и рядом и не рядом.  
Надейтесь высоко  
и сердцем и глазами...  
Спасибо вам за то,  
что будете друзьями!  
1955

## ТРЕТИЙ СНЕГ

*С. Щипачеву<sup>1</sup>*

Смотрели в окна мы, где липы  
чернели в глубине двора.  
Вздохали: снова снег не выпал,  
а ведь пора ему, пора.

И снег пошел, пошел под вечер.  
Он, покидая высоту,  
летел, куда подует ветер,  
и колебался на лету.

Он был пластинчатый и хрупкий  
и сам собою был смущен.  
Его мы нежно брали в руки  
и удивлялись: "Где же он?"

Он уверял нас: "Будет, знаю,  
и настоящий снег у вас.

Вы не волнуйтесь - я растаю,  
не беспокойтесь - я сейчас..."

Был новый снег через неделю.  
Он не пошел - он повалил.  
Он забивал глаза метелью,  
шумел, кружил что было сил.

В своей решимости упрямой  
хотел добиться торжества,  
чтоб все решили: он тот самый,  
что не на день и не на два.

Но, сам себя таким считая,  
не удержался он и сдал.  
и если он в руках не таял,  
то под ногами таять стал.

А мы с тревогою все чаще  
опять глядели в небосклон:  
"Когда же будет настоящий?  
Ведь все же должен быть и он".

И как-то утром, вставши сонно,  
еще не зная ничего,  
мы вдруг ступили удивленно,  
дверь отворивши, на него.

Лежал глубокий он и чистый  
со всею мягкой простотой.  
Он был застенчиво-пушистый  
и был уверенно-густой.

Он лег на землю и на крыши,  
всех белизною поразив,  
и был действительно он пышен,  
и был действительно красив.

Он шел и шел в рассветной гамме  
под гуд машин и храп коней,  
и он не таял под ногами,  
а становился лишь плотней.

Лежал он, свежий и блестящий,  
и город был им ослеплен.

Он был тот самый. Настоящий.  
Его мы ждали. Выпал он.  
1953

\* \* \*

Ты большая в любви.  
    Ты смелая.  
Я - робею на каждом шагу.  
Я плохого тебе не сделаю,  
а хорошее вряд ли смогу.  
Все мне кажется,  
    будто бы по лесу  
без тропинки ведешь меня ты.  
Мы в дремучих цветах до пояса.  
Не пойму я -  
    что за цветы.  
Не годятся все прежние навыки.  
Я не знаю,  
    что делать и как.  
Ты устала.  
    Ты просишься на руки.  
Ты уже у меня на руках.  
"Видишь,  
    небо какое синее?  
Слышишь,  
    птицы какие в лесу?  
Ну так что же ты?  
    Ну?  
    Неси меня!  
А куда я тебя понесу?..  
1953

\* \* \*

Ты спрашивала шепотом:  
"А что потом?  
    А что потом?"  
Постель была расстелена,  
и ты была растеряна...  
Но вот идешь по городу,  
несешь красиво голову,  
надменность рыжей челочки,

и каблучки-иголочки.  
В твоих глазах -  
        насмешливость,  
и в них приказ -  
        не смешивать  
тебя  
    с той самой,  
        бывшею,  
любимой  
    и любившею.  
Но это -  
        дело зряшное.  
Ты для меня -  
        вчерашняя,  
с беспомощно забывшейся  
той челочкою сбившейся.  
И как себя поставишь ты,  
и как считать заставишь ты,  
что там другая женщина  
со мной лежала шепчуще  
и спрашивала шепотом:  
"А что потом?  
        А что потом?"  
1957-1975

## **У РИМСКОЙ ЗАБЫТОЙ ДОРОГИ**

У римской забытой дороги  
недалеко от Дамаска  
мертвенны гор отроги,  
как императоров маски.

Кольца на солнце грея,  
сдержанно скрытноваты,  
нежатся жирные змеи —  
только что с Клеопатры.

Везли по дороге рубины,  
мечи из дамасской стали,  
и волосами рабыни,  
корчась, ее подметали.

Старый палач и насильник,  
мазью натершись этрусской,

покачиваясь в носилках,  
думал наместник обрюзглый:

«Пусть от рабочей черни  
лишь черепа да ребра:  
все мы умрем, как черви,  
но не умрет дорога...»

И думал нубиец-строитель,  
о камни бывший кувалдой,  
но все-таки раб строптивый,  
но все-таки раб коварный:

«Помня только о плоти,  
вы позабыли бога,  
значит, и вы умрете,  
значит, умрет и дорога...»

Сгнивали империи корни.  
Она, расползаясь, зияла,  
как сшитое нитками крови  
лоскутное одеяло.

Опять применяли опыт  
улещиванья и пыток.  
Кровью пытались штопать,  
но нет ненадежней ниток.

С римского лицемерия  
спала надменная тога,  
и умерла империя,  
и умирала дорога.

Пытались прибегнуть к подлогу.  
Твердили, что в крови, когда-то  
пролитой на дорогу,  
дорога не виновата.

Но дикой травы поколенья  
сводили с ней счеты крупно:  
родившая преступленья,  
дорога сама преступна.

И всем палачам-дорогам,  
и всем дорогам-тиранам

да будет высоким итогом  
высокая плата бурьяном!

Так думал я на дороге,  
теперь для проезда закрытой,  
дороге, забывшей о боге,  
и богом за это забытой.  
*1967, Дамаск*

## УХОДЯТ МАТЕРИ

*Р. Поспелову*

Уходят наши матери от нас,  
уходят потихонечку,  
на цыпочках,  
а мы спокойно спим,  
едой насытившись,  
не замечая этот страшный час.  
Уходят матери от нас не сразу,  
нет —  
нам это только кажется, что сразу.  
Они уходят медленно и странно  
шагами маленькими по ступеням лет.  
Вдруг спохватившись нервно в кой-то год,  
им отмечаем шумно дни рожденья,  
но это запоздалое раденье  
ни их,  
ни наши души не спасет.  
Все удаляются они,  
все удаляются.  
К ним тянемся,  
очнувшись ото сна,  
но руки вдруг о воздух ударяются —  
в нем выросла стеклянная стена!  
Мы опоздали.  
Пробил страшный час.  
Глядим мы со слезами потаенными,  
как тихими суровыми колоннами  
уходят наши матери от нас...  
*1960*

## ФРОНТОВИК

Глядел я с верным другом Васькой,  
укутан в теплый тетин шарф,  
и на фокстроты, и на вальсы,  
глазок в окошке продышав.  
Глядел я жадно из метели,  
из молодого января,  
как девки жаркие летели,  
цветастым полымем горя.  
Открылась дверь с игривой шуткой,  
и в серебрящейся пылице -  
счастливый смех, и шепот шумный,  
и поцелуи на крыльце.

Взглянул -

и вдруг застыло сердце.

Я разглядел сквозь снежный вихрь:  
стоял кумир мальчишек сельских -  
хрустящий,

бравый фронтовик.

Он говорил Седых Дуняше:

"А ночь-то, Дунечка, -  
краса!"

И тихо ей:

"Какие ваши  
совсем особые глаза..."

Увидев нас,

в ладоши хлопнул  
и нашу с Ваською судьбу  
решил:

"Чего стоите, хлопцы?!"

А ну, давайте к нам в избу!"

Мы долго с валенок огромных,  
сопя, состукивали снег  
и вот вошли бочком,

негромко

в махорку, музыку и свет.

Ах, брови -

черные чащобы!..

В одно сливались гул и чад,  
и голос:

"Водочки еще бы!.."-

и туфли-лодочки девчат.

Аккордеон всю работал,  
все поддавал он ветерка,

а мы смотрели,

как на бога,

на нашего фронтовика.  
Мы любовались,- я не скрою,-  
как он в стаканы водку лил,  
как перевязанной рукою  
красиво он не шевелил.  
Но он историями сыпал  
и был уж слишком пьян и лих,  
и слишком звучно,

слишком сыто  
вещал о подвигах своих.

И вдруг  
уже к Петровой Глаше  
подсел в углу под образа,  
и ей опять:

"Какие ваши  
совсем особые глаза..."  
Острил он приторно и вязко.  
Не слушал больше никого.  
Сидели молча я и Васька.  
Нам было стыдно за него.  
Наш взгляд,

обиженный, колючий,  
его упрямо не забыл,  
что должен быть он лучше,  
лучше

за то,  
что он на фронте был.

Смеясь,  
шли девки с посиделок  
и говорили про свое,  
а на веревках поседелых  
скрипело мерзлое белье.

1955

\* \* \*

*М. Бернесу*

Хотят ли русские войны?  
Спросите вы у тишины  
над ширью пашен и полей  
и у берез и тополей.  
Спросите вы у тех солдат,  
что под березами лежат,

и пусть вам скажут их сыны,  
хотят ли русские войны.

Не только за свою страну  
солдаты гибли в ту войну,  
а чтобы люди всей земли  
спокойно видеть сны могли.  
Под шелест листьев и афиш  
ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж.  
Пусть вам ответят ваши сны,  
хотят ли русские войны.

Да, мы умеем воевать,  
но не хотим, чтобы опять  
солдаты падали в бою  
на землю грустную свою.  
Спросите вы у матерей,  
спросите у жены моей,  
и вы тогда понять должны,  
хотят ли русские войны.  
1961

## **ЧЕЛОВЕКА УБИЛИ**

Помню дальнюю балку,  
мостик ветхий, гнилой  
и летящую бабу  
на кобыле гнедой.  
В сером облаке пыли,  
некрасива, бледна,  
«Человека убили!» —  
прокричала она.  
Я забыть не сумею,  
покуда живу,  
как бежали за нею,  
бросив косы в траву.  
Он, печальный и странный,  
лежал за бугром  
с незаметною раной  
под последним ребром.  
Был он кем-то безвинно  
из-за денег убит...  
Помню темную глину,  
слышу цокот копыт.

Бабу в облаке пыли  
вижу я и во сне.  
«Человека убили!» —  
крик истошный во мне.

Трудно жить мне на свете,  
трудно слышать тот крик.  
К человеческой смерти  
я еще не привык.  
Не однажды я видел,  
как о том ни тужи,  
незаметную гибель  
человечьей души.  
И в товарище старшем  
среди суеты  
мне угадывать страшно  
неживые черты.  
Видеть это не в силе.  
Стиснув зубы, молчу.  
«Человека убили!» —  
я вот-вот закричу.  
1957

## **ЧЕРНЫЕ БАНДЕРИЛЬИ**

По правилам корриды трусливому  
быку вместо обычных — розовых — в  
знак презрения всаживают черные  
бандерильи.

Цвет боевого торо —  
траур, с рожденья присосший.  
Путь боевого торо —  
арена, а после весы.  
Если ты к смерти от шпаги  
приговорен природой,  
помни — быку не по чину  
хитрая трусость лисы.  
Выхода нету, дружище.  
Надо погибнуть прилично.  
Надо погибнуть отлично  
на устрашение врагам.  
Ведь все равно после боя  
кто-то поставит привычно

краткую надпись мелом:  
    «Столько-то килограмм».  
Туша идет в килограммах.  
    Меряют в граммах смелость.  
Туша идет на мясо.  
    Смелость идет на рожон.  
Глупо быть смелым, если  
    это ума незрелость.  
Глупо быть трусом, если  
    ты все равно окружен.  
Что ты юлишь на арене?  
    Ты же большой бычище.  
Что ты притворно хромаешь?  
    Ноги еще крепки.  
Эй, симулянт неуклюжий...  
    Были тебя почище —  
всех в результате вздели  
    в лавке мясной на крюки.  
Кинься космато навстречу  
    алчущей банде — или  
скользкие бандерильеро  
    на утешенье толпе  
черные бандерильи,  
    черные бандерильи  
факелами позора  
    всадят в загривок тебе.  
В чем же твой выигрыш, дурень?  
    В жалкой игре с подлецами?!  
Тот, кто боится боя,  
    тот для корриды негож.  
Тощие шлюхи-коровы  
    нежными бубенцами  
сманят тебя с арены,  
    ну а потом — под нож.  
Раз все равно прикончат,  
    пусть уж прикончат, потея.  
Пусть попыхтят, потанцуют  
    балеруны мясников.  
Будь настоящим торо.  
    Не опустишь до паденья  
этой толпы, состоящей  
    сплошь из трусливых быков.  
Много ли граммов отваги  
    миру они подарили?  
И задевают за стены,

шторы и косяки  
черные бандерильи,  
        черные бандерильи,  
будто в дрожащие шкуры,  
        всаженные в пиджаки.

\* \* \*

Что заставляет  
        крановщицу Верочку  
держать черемухи застенчивую веточку,  
и веточкой дышать,  
        и сразу делаться,  
как маленькая-маленькая девочка,  
которая не восемь строек выдюжила,  
а в первый раз  
        одна  
        из дому выбежала?

Что заставляет  
        старого бетонщика  
глядеть под вечер  
        нежно и беспомощно  
на Волгу молодую,  
        разливанную,  
от зыбкого заката розоватую?  
Мы столько с вами  
        войн и строек  
        выстрадали.

Как трудно нам ни приходилось —  
        выстояли.

Стреляли мы,  
        в руках сжимали циркули.

Склонялись  
        над проектами,  
        над цифрами.

На койки падали  
        усталые,  
        замаянные,  
замаранные глиною,  
        замасленные.

Казалось,  
        мы с природой разлучились  
и ветками дышать  
        мы разучились.

Но в нас жива любовь  
    к всему российскому,  
зеленому,  
    пахучему,  
    росистому.

И мы, усталые,  
    в цементной серой пыли,  
как дети, улыбаемся цветам.

Природе надо,  
    чтоб ее любили.  
Ей это надо так же, как и нам.  
1958

\* \* \*

*И. Тарбе*

Я груши грыз,  
    шатался,  
    вольничал,  
купался в море поутру,  
в рубашке пестрой,  
    в шляпе войлочной  
пил на базаре хванчкару.  
Я ездил с женщиною маленькой,  
ей летний отдых разрушал,  
под олеандрами и мальвами  
ее собою раздражал.

Брели художники с палитрами,  
орал мацонщик на заре,  
и скрипки вечером пиликали  
в том ресторане на горе.

Потом дорога билась,  
    прядала,  
скрипела галькой невпопад,  
взвивалась,  
    дыбилась  
    и падала  
с гудящих гор,  
    как водопад.

И в тихом утреннем селении,  
оставив сена вороха,  
нам открывал старик серебряный  
играющие ворота.

Потом нас за руки цепляли там,  
и все ходило ходуном,  
лоснясь хрустящими цыплятами,  
мерцая сумрачным вином.

Я брал светящиеся персики  
и рог пустой на стол бросал  
и с непонятными мне песнями  
по-русски плакал и плясал.

И, с чуть дрожащей ниткой жемчуга,  
пугливо голову склоня,  
смотрела маленькая женщина  
на незнакомого меня.

Потом мы снова,  
        снова ехали  
среди платанов и плюща,  
треща зелеными орехами  
и море взглядами ища.

Сжимал я губы побелевшие.  
Щемило,  
        плакало в груди,  
и наступало побережье,  
и море было впереди.  
1956

\* \* \*

Я комнату снимаю на Сущевской.  
Успел я одиночеством пресытиться,  
и перемены никакой существенной  
в квартирном положении не предвидится.  
Стучит,  
        стучит моя машинка пишущая,  
а за стеной соседка,  
        мужа пичкающая,  
внушает ему сыто без конца,

что надо бы давно женить жильца.

А ты,  
ты где-то,  
как в другой Галактике,  
и кто-то тебя под руку галантненько  
ведет —  
ну и пускай себе ведет.  
Он тот, кто надо,  
ибо он не тот.

Воюю.

Воевать — в крови моей.  
Но, возвращаясь поздней ночью,  
вижу я,  
что только кошка черно-бело-рыжая  
меня встречает у моих дверей.  
Я молока ей в блюдечке даю,  
смотрю,  
и в этом странном положении  
одержанная час назад в бою  
мне кажется победа пораженьем.  
Но если побежден, как на беду,  
уже взаправду,  
но не чьей-то смелостью,  
а чьей-то просто тупостью и мелкостью,  
куда иду?

Я к матери иду.  
Здесь надо мной не учиняют суд,  
а наливают мне в тарелку суп.  
Здесь не поймут стихов моих превратно,  
а если и ворчат —  
ворчат приятно.

Я в суп поглубже ложкою вникаю,  
нравоученьям маминым внимаю,  
киваю удрученной головой,  
но чувствую —  
я все-таки живой.

И мысли облегченные скользят,  
и губы шепчут детские обеты,  
и мучившее час тому назад  
мне поражение кажется победой...

1958

\* \* \*

Я кошелек.

Лежу я на дороге.  
Лежу один посередине дня.  
Я вам не виден, люди.

Ваши ноги  
идут по мне и около меня.  
Да что, вы  
ничего не понимаете?!  
Да что, у вас, ей-богу,  
нету глаз?!

Та пыль,  
что вы же сами поднимаете,  
меня скрывает,  
хитрая,  
от вас.

Смотрите лучше.  
Стоит лишь взглядеться,  
я все отдам вам,  
все, чем дорожил.

И не ищите моего владельца -  
я сам себя на землю положил.  
Не думайте,  
что дернут вдруг за ниточку,  
и над косым забором невдали  
увидите какую-нибудь Ниночку,  
смеющуюся:

"Ловко провели!"

Пускай вас не пугает смех стыдящий  
и чьи-то лица где-нибудь в окне...  
Я не обман.

Я самый настоящий.  
Вы посмотрите только, что во мне!  
Я одного боюсь,  
на вас в обиде:  
что вот сейчас,  
посередине дня,  
не тот, кого я жду,  
меня увидит,  
не тот, кто надо,  
подберет меня.

1955

\* \* \*

Я разлюбил тебя... Банальная развязка.  
Банальная, как жизнь, банальная, как смерть.  
Я оборву струну жестокого романса,  
гитару пополам — к чему ломать комедь!

Лишь не понять щенку — лохматому уродцу,  
чего ты так мудришь, чего я так мудрю.  
Его впущу к себе — он в дверь твою скребется,  
апустишь ты его — скребется в дверь мою.

Пожалуй, можно так с ума сойти, метаясь...  
Сентиментальный пес, ты попросту юнец.  
Но не позволю я себе сентиментальность.  
Как пытку продолжать — затягивать конец.

Сентиментальным быть не слабость — преступленье,  
когда размякнешь вновь, наобещаешь вновь  
и пробуешь, кряхтя, поставить представленье  
с названием тупым «Спасенная любовь».

Спасать любовь пора уже в самом начале  
от пылких «никогда!», от детских «навсегда!».  
«Не надо обещать!» — нам поезда кричали,  
«Не надо обещать!» — мычали провода.

Надломленность ветвей и неба задымленность  
предупреждали нас, зазнавшихся невежд,  
что полный оптимизм — есть неосведомленность,  
что без больших надежд — надежней для надежд.

Гуманней трезвым быть и трезво взвесить звенья,  
допрежь чем их надеть, — таков закон вериг.  
Не обещать небес, но дать хотя бы землю.  
До гроба не сулить, но дать хотя бы миг.

Гуманней не твердить «люблю...», когда ты любишь.  
Как тяжело потом из этих самых уст  
услышать звук пустой, вранье, насмешку, грубость,  
и ложно полный мир предстанет ложно пуст.

Не надо обещать... Любовь — неисполнимость.  
Зачем же под обман вести, как под венец?  
Виденье хорошо, пока не испарилось.  
Гуманней не любить, когда потом — конец.

Скулит наш бедный пес до умопомраченья,  
то лапой в дверь мою, то в дверь твою скребя.  
За то, что разлюбил, я не прошу прощенья.  
Прости меня за то, что я любил тебя.

1966

\* \* \*

Я сибирской породы.  
Ел я хлеб с черемшой  
и мальчишкой паромы  
тянул, как большой.  
Раздавалась команда.  
Шел паром по Оке.  
От стального каната  
были руки в огне.  
Мускулистый,  
лобастый,  
я заклепки клепал,  
и глубокой лопатой,  
как велели, копал.  
На меня не кричали,  
не плели ерунду,  
а топор мне вручали,  
приучали к труду.  
А уж если и били  
за плохие дрова -  
потому, что любили  
и желали добра.  
До десятого пота  
гнулся я под кулем.  
Я косою работал,  
колуном и кайлой.  
Не боюсь я обиды,  
не боюсь я тоски.  
Мои руки обиты  
и сильны, как тиски.  
Все на свете я смею.  
Усмехаюсь врагу,  
потому что умею,  
потому что могу.

1954

\* \* \*

Я товарища хороню.  
Эту тайну я хмуρο храню.  
Для других он еще живой.  
Для других он еще с женой,  
для других еще с ним дружу,  
ибо с ним в рестораны хожу.  
Никому я не расскажу,  
Никому -  
    что с мертвым дружу.  
Говорю не с его чистотой,  
а с нечистой пустотой.  
И не дружеская простота -  
держит рюмку в руке пустота.  
Ты прости,  
    что тебя не браню,  
не браню,  
    а молчком хороню,  
Это что же такое,  
    что?  
У меня не умер никто,  
и немного прожито лет,  
а уж стольких товарищей нет.  
1957

\* \* \*

Я только внешне, только внешне  
по этой пристани хожу  
и желтоватые черешни  
бросаю в воду и гляжу.

И вспоминаю встреч недолгость,  
и расставания недобрость,  
и уходящий силуэт,  
и голос: «Больше силы нет...»

Брожу я местной барахолкой  
и мерю чьи-то пиджаки,  
и мне малиновой бархоткой  
наводят блеск на башмаки.

Устроив нечто вроде пира,

два краснощеких речника  
сдирают молча пробки с пива...  
об угол пыльного ларька.

Потеют френчи шерстяные,  
и то под небыль, то под быль  
головки килек жестяные  
летят, отвергнутые, в пыль.

И я сдору об угол пробку,  
но мало в этом будет проку,  
и я займусь рыбацким делом —  
присяду с тем вон добрым дедом  
на шелушащемся бревне,  
но это не поможет мне.

Сниму ботинки и, босой,  
пойду высокою травюю  
и маленький костер устрою  
за той лесистою косою.

Сижу, трескучий хворост жгу,  
гляжу на отблесков свиванья,  
с тобою нового свиданья  
устало, обреченно жду.

И кажется — так будет вечность.  
Пока дышать не разучусь,  
я никогда с тобой не встречусь  
и никогда не разлучусь.  
1960

\* \* \*

Я у рудничной чайной,  
у косога плетня,  
молодой и отчаянный,  
расседлаю коня.

О железную скобку  
сапоги оботру,  
закажу себе стопку  
и достану махру.

Два степенных казаха  
прилагают к устам  
с уважением сахар,  
будто горный хрусталь.

Брючки географини  
все - репей на репье.  
Орден "Мать-героиня"  
у цыганки в тряпье.

И, невзрачный, потешный,  
странноватый на вид,  
старикашка подсевший  
мне бессвязно твердит,

как в парах самогонных  
в синеватом дыму  
золотой самородок  
являлся ему,

как, раскрыв свою сумку,  
после сотой версты  
самородком он стукнул  
в кабаке о весы,

как шалавых девчонок  
за собою водил  
и в портянках парчовых  
по Иркутску ходил...

В старой рудничной чайной  
городским хвастуном,  
молодой и отчаянный,  
я сажу за столом.

Пью на зависть любому,  
и блестят сапоги.  
Гармонисту слепому  
я кричу: "Сыпани!"

Горячо мне и зыбко  
и беда нипочем,  
а буфетчица Зинка  
все поводит плечом.

Все, что было, истратив,  
как подстреленный влет,  
плачет старый старатель  
оттого, что он врет.

Может, тоже заплачу  
и на стол упаду,  
все, что было, истрачу,  
ничего не найду.

Но пока что мне зыбко  
и легко на земле,  
и буфетчица Зинка  
улыбается мне.  
1955

## **Я ХОТЕЛ БЫ...**

Я хотел бы  
    родиться  
        во всех странах,  
быть беспаспортным,  
    к панике бедного МИДа,  
всеми рыбами быть  
    во всех океанах  
и собаками всеми  
    на улицах мира.  
Не хочу я склоняться  
    ни перед какими богами,  
не хочу я играть  
    в православного хиппи,  
но я хотел бы нырнуть  
    глубоко-глубоко на Байкале,  
ну а вынырнуть,  
    фыркая,  
    на Миссисипи.

Я хотел бы  
    в моей ненаглядной проклятой  
        вселенной  
быть репейником сирым —  
    не то что холеным левкоем.  
Божьей тварью любой,  
    хоть последней паршивой гиеной,  
но тираном — ни в коем

и кошкой тирана — ни в коем.  
И хотел бы я быть  
человеком в любой ипостаси:  
хоть под пыткой в тюрьме гватемальской,  
хоть бездомным в трущобах Гонконга,  
хоть скелетом живым в Бангладеше,  
хоть нищим юродивым в Лхасе,  
хоть в Кейптауне негром,  
но не в ипостаси подонка.  
Я хотел бы лежать  
под ножами всех в мире хирургов,  
быть горбатым, слепым,  
испытать все болезни, все раны,  
уродства,  
быть обрубком войны,  
подбирателем грязных окурков —  
лишь бы внутрь не пролез  
подловатый микроб превосходства.  
Не в элите хотел бы я быть,  
но, конечно, не в стаде трусливых,  
не в овчарках при стаде,  
не в пастырях,  
стаду угодных,  
и хотел бы я счастья,  
но лишь не за счет несчастливых,  
и хотел бы свободы,  
но лишь не за счет несвободных.  
Я хотел бы любить  
всех на свете женщин,  
и хотел бы я женщиной быть —  
хоть однажды...  
Мать-природа,  
мужчина тобой приуменьшен.  
Почему материнства  
мужчине не дашь ты?  
Если б торкнулось в нем,  
там, под сердцем,  
дитя беспричинно,  
то, наверно, жесток  
так бы не был мужчина.  
Всенасущным хотел бы я быть —  
ну, хоть чашкою риса  
в руках у вьетнамки наплаканной,  
хоть головкою лука  
в тюремной бурде на Гаити,

хоть дешевым вином  
в траттории рабочей неапольской  
и хоть крошечным тубиком сыра  
на лунной орбите:  
пусть бы съели меня,  
пусть бы выпили —  
лишь бы польза была  
в моей гибели.  
Я хотел бы всевременным быть,  
всю историю так огорошив,  
чтоб она обалдела,  
как я с ней нахальствую:  
распилить пугачевскую клетку  
в Россию проникшим Гаврошем,  
привезти Нефертити  
на пущинской тройке в Михайловское.  
Я хотел бы раз в сто  
увеличить пространство мгновенья:  
чтобы в тот же момент  
я на Лене пил спирт с рыбаками,  
целовался в Бейруте,  
плясал под тамтамы в Гвинее,  
бастовал на «Рено»,  
мяч гонял с пацанами на Копакабане.  
Всеязыким хотел бы я быть,  
словно тайные воды под почвой.  
Всепрофессиональным сразу.  
И я бы добился,  
чтоб один Евтушенко был просто поэт,  
а второй был подпольщик,  
третий — в Беркли студент,  
а четвертый — чеканщик тбилисский.  
Ну а пятый —  
учитель среди эскимосских детей  
на Аляске,  
а шестой —  
молодой президент,  
где-то, скажем, хоть в Сьерра-Леоне,  
а седьмой —  
еще только бы тряс  
погремушкой в коляске,  
а десятый...  
а сотый...  
миллионный...  
Быть собою мне мало —

быть всеми мне дайте!  
Каждой твари —  
и то, как ведется, по паре,  
ну а бог,  
поскупись на копирку,  
меня в самиздате напечатал  
в единственном экземпляре.  
но я богу все карты смешаяю.  
Я бога запутаю!  
Буду тысячелик  
до последнего самого дня,  
чтоб гудела земля от меня,  
чтоб рехнулись компьютеры  
на всемирной переписи меня.  
Я хотел бы на всех баррикадах твоих,  
человечество,  
драться,  
к Пиренеям прижаться,  
Сахарой насквозь пропылиться  
и принять в себя веру  
людского великого братства,  
а лицом своим сделать —  
всего человечества лица.  
Но когда я умру —  
нашумевшим сибирским Вийоном,—  
положите меня  
не в английскую,  
не в итальянскую землю —  
в нашу русскую землю  
на тихом холме,  
на зеленом,  
где впервые  
себя  
я почувствовал всеми.

\* \* \*

Я шатаюсь в толкучке столичной  
над веселой апрельской водой,  
возмутительно нелогичный,  
непростительно молодой.

Занимаю трамваи с бою,  
увлеченно кому-то лгу,

и бегу я сам за собою,  
и догнать себя не могу.

Удивляюсь баржам бокастым,  
самолетам, стихам своим...  
Наделили меня богатством,  
Не сказали, что делать с ним.  
1954

## **ЯРМАРКА В СИМБИРСКЕ**

Ярмарка!  
В Симбирске ярмарка.  
Почище Гамбурга!  
Держи карман!  
Шарманки шамкают,  
и шали шаркают,  
и глотки гаркают:  
«К нам! К нам!»  
В руках приказчиков  
под сказки-присказки  
воздушны соболи,  
парча тяжка.  
А глаз у пристава  
косится пристально,  
и на «селедочке»  
перчаточка.  
Но та перчаточка  
в момент с улыбочкой  
взлетает рыбочкой  
под козырек,  
когда в пролеточке  
с какой-то цыпочкой,  
икая,  
катит  
икорный бог.  
И богу нравится,  
как расступаются  
платки,  
треухи  
и картузы,  
и, намалеваны  
икрою паюсной,  
под носом дамочки

блестят усы.  
А зазывалы  
рокочут басом,  
торгуют юфтью,  
шевром,  
атласом,  
пречистым Спасом,  
прокисшим квасом,  
протухшим мясом  
и Салиасом.

И, продав свою картошку  
да хвативши первача,  
баба ходит под гармошку,  
еле ноги волоча,  
и поет она,  
предерзостная,  
все захмелевая,  
шаль за кончики придерживая,  
будто молодая:

«Я была у Оки,  
ела я-бо-ло-ки.  
С виду золоченые —  
в слезыньках моченные.

Я почапала на Каму,  
я в котле сварила кашу.  
Каша с Камою горька —  
Кама слезная река.

Я поехала на Яик,  
села с миленьким на ялик.  
По верхам и по низам —  
всё мы плыли по слезам.

Я пошла на тихий Дон,  
я купила себе дом.  
Чем для бабы не уют?  
А сквозь крышу слезы льют».

Баба крутит головой.  
Все в глазах качается.  
Хочет быть молодой,  
а не получается.

И гармошка то зальется,  
то вопьется, как репей...  
Пей, Россия,  
    ежли пьется,—  
только душу не пропей!

Ярмарка!  
    В Симбирске ярмарка.  
Гуляй,  
    кому гуляется!  
А баба пьяная  
в грязи валяется.

В тумане плавая,  
царь похваляется...  
А баба пьяная  
в грязи валяется.

Корпя над планами,  
министры маются...  
А баба пьяная  
в грязи валяется.

Кому-то памятник  
подготавливается...  
А баба пьяная  
в грязи валяется.

И мещаночки,  
    ресницы приспустив,  
мимо,  
    мимо:  
    «Просто ужас! Просто стыд!»  
И лабазник — стороною  
мимо,  
    а из бороды:  
«Вот лежит...  
    А кто виною?  
Всё студенты да жида...»  
И философ-горемыка  
ниже шляпу на лоб  
и, страдая гордо,—  
    мимо:  
«Грязь —  
    твоя судьба, народ».

Значит, жизнь такая подлая —  
лежи и в грязь встывай?!

Но кто-то бабу под локоть  
и тихо ей:

«Вставай!..»

Ярмарка!

В Симбирске ярмарка.

Качели в сини,

и визг,

и свист.

И, как гусыни,

купчихи яростно:

«Мальчишка с бабою...

Гимназист».

Он ее бережно

ведет за локоть.

Он и не думает,

что на виду.

«Храни Христос тебя,

яснолобый.

А я уж как-нибудь

сама дойду».

И он уходит.

Идет вдоль барок

над вешней Волгой,

и, вслед грустя,

его тихонечко крестит баба,

как бы крестила свое дитя.

Он долго бродит.

Вокруг все пасмурней.

Охранка —

белкою в колесе.

Но как ей вынюхать,

кто опаснейший,

когда опасны

в России все!

Охранка, бедная,

послушай, милая,—

всегда опасней,

пожалуй, тот,

кто остановится,

кто просто мимо

чужой растоптанности не пройдет.

А Волга мечется,

хрипя,  
    постанывая.  
Березки светятся  
    над ней во мгле,  
как свечки робкие,  
    землей поставленные  
за настрадавшихся на земле.

Ярмарка!  
    В России ярмарка.  
Торгуют совестью,  
    стыдом,  
    людьми,  
суют стекляшки,  
    как будто яхонты,  
и заывают на все лады.  
Тебя, Россия,  
    вконец растрчивали  
и околпачивали в кабаках,  
но те, кто ввали и одурачивали,  
еще останутся в дураках!  
Тебя, Россия,  
    вконец опутывали,  
но не для рабства ты родилась —  
Россию Разина,  
    Россию Пушкина<sup>1</sup>,  
Россию Герцена  
    не втопчут в грязь!  
Нет,  
ты, Россия,  
    не баба пьяная!  
Тебе великая дана судьба,  
и если даже ты стонешь,  
    падая,  
то поднимаешь сама себя!

Ярмарка!  
    В России ярмарка.  
В России рай,  
    а слез — по край.  
Но будет мальчик —  
    он снова явится  
и скажет праведное:  
    «Вставай!»

1964



